

Алексей Варламов

ЕВА
МЯСОЕДОВ

Лауреат премии «Большая книга»



Проза Алексея Варламова

Алексей Варламов

Ева и Мясоедов

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Варламов А. Н.

Ева и Мясоедов / А. Н. Варламов — «Издательство АСТ»,
2020 — (Проза Алексея Варламова)

ISBN 978-5-17-134151-0

Алексей Варламов – прозаик, филолог, ректор Литературного института им. А. М. Горького, автор романов «Мысленный волк» (короткий список «Большой книги», «Студенческий букер») и «Душа моя Павел». Лауреат премии Александра Солженицына и Патриаршей литературной премии. В новую книгу Алексея Варламова вошли «повести сердца» – «Рождение», «Ева и Мясоедов» и «Дом в деревне», путевые очерки из Европы и США и очень личные заметки о русской литературе, о биографии и творчестве Пушкина, Достоевского, Толстого, Булгакова, Шукшина, Солженицына, Водолазкина. «Ева и Мясоедов» – сборник прозы о потерянном и обретенном Слове.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-134151-0

© Варламов А. Н., 2020
© Издательство АСТ, 2020

Содержание

Улица Свободы	6
Факты сердца	14
Рождение	14
Часть первая	14
Часть вторая	30
Часть третья	42
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Алексей Варламов

Ева и Мясоедов

© Варламов А. Н.

© ООО «Издательство АСТ»

Улица Свободы

Я стал писать благодаря своей бабушке Марии Анемподистовне Мясоедовой. Как у многих русских женщин XX века, у нее была фантастическая, тяжелейшая и прекрасная судьба, которая сама по себе есть роман. Внучка богатого купца-мукомола, которого до сих пор чтут и помнят в Твери, умная, замечательно образованная, чего только не испытывавшая на своем веку, она сочиняла любительские стихи и рассказы и несла в себе тот писательский ген, который – мне хотелось бы в это верить – передался одному из ее шести внуков. Больше того, я имею некоторые основания полагать, что Мария Анемподистовна сама этому поспособствовала. Во всяком случае, самое первое воспоминание из моего младенчества, как бабушка носит меня на руках по двухкомнатной квартире на Автозаводской улице на рабочей окраине Москвы и показывает огромный мир внутри дома и за его пределами, пробуждая любопытство и внимание к подробностям бытия. Мне кажется, я тянулся не к погремушкам над кроватью, а к далеким предметам. И одним из них, самым важным со временем стала немецкая пишущая машинка *Torpedo* с красивыми круглыми клавишами, на которой бабушка иногда разрешала мне печатать. Каким удивительным, чудесным казался мне этот процесс! Буквы, которые я с таким трудом учился писать, получались благодаря бабушкиной машинке идеально ровными – надо было только не ошибиться с клавишей, но сама по себе возможность что-то не написать рукой, а напечатать таинственным образом приближала к литературе, к журналу, к книге и превращала меня в автора. Позднее я почти всегда печатал свои тексты на машинке, а не писал от руки по той причине, что не мог разобрать собственного почерка, рука не поспевала угнаться за мыслью, а на машинке, хоть и мазал в угаре по клавишам, все-таки понять текст и работать с ним было легче.

Когда я еще подросток, бабушка намеренно или нет принялась рассказывать мне многое из своей жизни, о чем, конечно, смогла бы гораздо лучше написать сама, но у нее не было времени всерьез заниматься литературой, и все это, ею пережитое, досталось мне в качестве драгоценного наследства, которым я, как умел, принялся распоряжаться, и многое в моей прозе было связано с ней, и прежде всего, в семейном предании «Ева и Мясоедов». В бабушкиной судьбе было много загадочного, непонятного, того, чего она по разным причинам недоговаривала, не рассказывала, не желая портить маленькому мальчику благополучную советскую картину мира, и многие вещи мне приходилось потом уже выяснять у ее сыновей, моих дядьев, ее дочери – моей матушки, либо додумывать. Но помимо собственной семейной саги она в каком-то смысле подарила мне весь XX век, чьей ровесницей была, и открыла его передо мной. Много лет спустя, когда я стал писать книги для серии «ЖЗЛ», я писал именно о веке двадцатом и не ходил дальше и глубже в историю, потому что это столетие благодаря бабушке я осязал, а девятнадцатое уже нет.

Но это случилось позднее, пока же в 1960-е и 1970-е я жил обычной жизнью советского ребенка: детский садик, двор, стадион (как и машинка, он назывался «Торпедо»), окружная железная дорога, трубы теплоэлектростанции, завод «ЗИЛ», бассейн, Дворец пионеров на Ленинских горах, английская спецшкола с ее полицейскими порядками, вольный университет, картошка в совхозе «Клементьево», дачный участок под Москвой в Купавне близ Бисерова озера, звезды, ужение рыбы, велосипед, узкоколейка, ведущая к карьере, заброшенный храм в Кудиново, весенний лес, половодье. Однако самым главным в моей жизни была жажда покинуть этот тесный мирок и увидеть мир огромный. То было целью, литература оказалась средством. Она разламывала стены, границы, перегородки между людьми, временами, странами и городами. Чтение и правда стало моим любимым занятием и не то чтобы потеснило реальную жизнь, но сделалось ее частью. И чтение же подхлестывало желание писать самому. Я начинал с того, что выдумывал разные истории по дороге в школу, на дачу или на каток, потому

что просто идти и глазеть по сторонам без книги в руках было скучно, а вот рассказывать что-то самому себе интересно. Это были непонятные мне до сих пор мыслительные, душевные процессы, бесконечные внутренние потоки переживаний, реальных и мнимых страхов, комплексов, немоты, сумятицы, неясных мечтаний, желаний, снов (я всю свою жизнь каждую без исключения ночь вижу очень яркие, подробные, запоминающиеся сны), бессознательных молитв, которые просились в слово.

Впрочем, первое, что я написал, было продолжением трилогии Николая Носова о Незнайке. Мне было так жалко, что она закончилась, и я уселся сочинять продолжение «Незнайка на Марсе» в общей тетрадке за 48 копеек. (Значит, машинка была все-таки позже.) На обложке написал имя автора, страну СССР и год – 1972-й. Мне было тогда девять лет. Моим первым и единственным читателем стала соседка по парте Ирочка Шуваева, обнаружившая на страницах моего сиквела несметное количество грамматических ошибок, а обо всем прочем ничего не сказавшая.

Напечатался же я в первый раз в двадцать четыре года в двенадцатом номере журнала «Октябрь» за 1987 год. Я окончил незадолго до этого филфак МГУ, так и не разобравшись до сих пор, правильным или нет было это образование, но на факультете мне училось хорошо, интересно, радостно. Про Литинститут я не думал – он казался мне недостижимым. Однако литература все больше влекла, еще на первом курсе я написал ужасный «антисоветский» роман под названием «Дачные страсти», при том что мое «бунтарство» никогда не доходило до диссидентства, однако читать самиздат, ругать власть считалась в той среде, где я вращался, хорошим тоном, а быть активистом, делать карьеру, вступать в партию – дурным. Потом я стал сочинять рассказы и почувствовал острую потребность с кем-то всем этим богатством поделиться из людей опытных, компетентных. Сначала душил по углам своих университетских друзей и охмурил в съемной квартире № 50 в Теплом Стане литературой будущую жену, а потом оказался на улице Писемского в литобъединении при Московской писательской организации. Вел его совершенно неизвестный мне прозаик Федор Колунцев – тбилисский армянин, чье настоящее имя было Тадэос Ависович Бархадурян. (Любопытства ради я взял в библиотеке несколько его книг и обнаружил, что они были очень хороши, но большой славы Колунцев не снискал, и это стало одним из моих первых литературных открытий и разочарований – как несправедлива, однако, бывает писательская судьба!)

Его студийцами, хотя это слово мы не использовали, были двадцать парней – литература тогда была еще преимущественно делом мужским – каждый из которых, вероятно, считал себя если не гением, то литературно очень и очень одаренным, всех остальных – графоманами, и громили мы друг друга, изничтожали по-страшному. Колунцев за этим мордобоем следил, никого из критиков никогда не перебивая и запрещая творцам во время обсуждений защищаться и твердить, что все кругом уроды и их не так поняли. «Вы уже все сказали», – объяснял он обсуждаемому избраннику, а потом недолго и тактично говорил сам, давая очень точные оценки нашим опусам. Иногда, правда, Колунцев выходил из себя и тоже ругался, много курил, рассказывал про свои поездки в Югославию и Испанию – в общем, это было полезно, здорово, волнительно, а главное, готовило к будущей литературной жизни. (Когда потом меня долбала критика и чесались руки ответить, я всегда вспоминал Колунцева и его уроки.) Продолжалось наше молодое писательское счастье года два, а в 1988-м Федор Ависович умер, и некоторое время занятия вел прославившийся после публикации «Тучки» Анатолий Приставкин. Но, как это бывает, хороший писатель и хороший мастер не всегда совпадают, да и у Приставкина были куда более важные дела и заботы, чем молодые, честолюбивые оглоеды. Студия вскоре развалилась, вслед за ней развалился Советский Союз, ну и вместе с ним Союз писателей СССР, куда я не успел вступить.

И все-таки чуточку советским писателем я побывал. За свой первый трехстраничный рассказ «Тараканы», написанный в один присест, я получил 180 рублей – больше, чем зарабатывал

в университете за целый месяц, преподавая русский язык иностранцам. Получил и подумал: а сколько ж тогда платят за повесть, за роман? Конечно, это были неглавные мысли, я был так счастлив самим фактом публикации, тем более что в ту пору начинающим авторам пробиться в толстые журналы было делом немислимимым – все они печатали «возвращенную литературу» и для текущей места было в обрез, даже для писателей с именами. Так что «Октябрю», который традиционно отдавал последний номер года молодым, я бесконечно обязан. Потом я успел еще издать первую книжечку (тиражом 75 000), побывать на совещании молодых писателей в Подмоскowie, которые устраивал комсомол, и на союзписательском семинаре в Пицунде, но в конце 1980-х это был уже сплошной разброд и шатание. В литературе все резче шло деление на правых и левых, толстые и тонкие журналы ругались друг с другом, все кричали, никто никого не слушал, рушились старинные писательские дружбы, сыпались взаимные обвинения, подписывались коллективные письма протеста и, казалось, весь литературный мир превратился в драчливое литобъединение на улице Писемского.

Я был по своим взглядам ближе к почвенникам, мне нравилась деревенская проза, которую я как-то не оценил, учась в университете и предпочитая тогда западных авторов, но теперь Белов, Распутин, Астафьев сделались моими кумирами. Но – не Бондарев, например. Не Проскурин. Не Проханов. Приобретенный в молодости на семинарах по марксистско-ленинской философии антикоммунизм был во мне стоек, и я не мог забыть, как ходил по Садовому кольцу и упоенно орал «Долой КПСС!» в перестройку и как потом был счастлив, что советская система рухнула и в августе 1991-го ничего у коммуниак не получилось. Само слово «советский» было для меня ругательным в противовес слову «русский». Позднее моим любимейшим и самым близким по духу писателем станет Леонид Бородин, отсидевший за свои русские, антисоветские убеждения много лет в брежневских и андроповских тюрьмах.

1990-е были, наверное, самыми трудными, важными и прекрасными в моей жизни. Я их ненавидел и любил, у меня многое получалось, но еще больше – не получалось. Я был уже женат, однако жили мы довольно скудно, и я чувствовал себя обманутым, проигравшим, тем более что почти все мои друзья-филологи ушли из профессии и занимались кто чем: торговали недвижимостью, туристическими путевками, мебелью; они разбогатели, поднялись, а кто был я? Прозаик. «Про заек», как тогда острили. Я получал гроши за свои повести и романы, пусть даже они печатались в самых лучших толстых журналах, и к «Октябрю» прибавились «Знамя», а потом «Новый мир», «Грани» – несмотря на мое почвенничество, меня печатали журналы преимущественно либеральные. У меня выходили книжки, конечно, не такими большими тиражами, как самая первая, но все же выходили. Потихоньку что-то переводилось на другие языки, моя литературная судьба складывалась как будто удачно, а между тем порой не хватало денег на фрукты детям, и я понимал, что делаю не то.

Конечно, мы не голодали, не нищенствовали в прямом смысле слова, мы не пережили в Москве то, что испытали бывшие подданные советской империи на ее окраинах. У нас была, по выражению одного моего доброго друга, «опрятная бедность». Но по-человечески, по-мужски я ощущал свою несостоятельность из-за того, что не могу поехать с семьей никуда, кроме дачного участка под Москвой, и все лето вынужден вкалывать на огороде, чтобы зимой было что есть, а в оставшееся от прополки, окучивания, сбора урожая и консервирования время дотемна тюкать одним пальцем на красной югославской машинке *Unis* (я купил ее на свою первую зарплату вместо пришедшей в негодность *Torpedo*, а народ уже постепенно переходил на компьютеры) не приносящую доходов прозу. Я недаром назвал свой первый роман «Лох» – словом, которое тогда только вошло в употребление, но лишь годы спустя понял, что по большому счету мои летние трудодни и трудоночи были тем счастьем, которое не чувствуешь, покуда оно есть, а ощущаешь только в воспоминаниях...

Впрочем, иногда судьба становилась ко мне благосклонней. Так, в самом конце 1995 года мне позвонили из «Независимой газеты» и попросили приехать. Ни о чем не подозревая, я

добрался до Мясницкой по давно пробитому трамвайному талону, больше всего на свете опасаясь контролеров. В редакции меня завели в небольшую комнату и с таинственным видом протянули листок бумаги. Там было написано, что накануне состоялось заседание жюри вновь учрежденной премии «Антибукер» за лучшее прозаическое произведение года, и таковым была признана моя повесть «Рождение». А еще там было сказано, что победитель получит 12 501 доллар (на один больше, чем лауреаты «Букера», в пику которому эта премия была учреждена).

Это могло быть только розыгрышем и ничем иным. До этого я не держал в руках ни одного доллара. Первый получил 21 декабря 1995-го, то есть аккуратно в день рождения Сталина, как тогда считалось, в клубе миллионеров на Большой Коммунистической улице. Зеленую купюру с хитроумным Джорджем Вашингтоном на лицевой стороне и пирамидой с всевидящим оком на обороте мне вручил председатель жюри, главред «Независимой газеты» Виталий Третьяков и отправил домой в Тушино на своей служебной машине, чтобы никто не позарился на остальные деньги. Но денег-то как раз и не было, вместо них я мог любоваться тощим конвертом и вложенным в него листочком, где было написано: по поводу получения остальной части премии позвонить по телефону такому-то.¹

И я стал звонить. Позвоните завтра, позвоните послезавтра, через три дня, после Нового года... Все мои знакомые молодые литераторы, люди в высшей степени доброжелательные и незлобивые, уверяли меня в том, что никаких денег я не получу. В газете написали, по телеку показали, церемонию в клубе миллионеров устроили, чего тебе еще, парень, надо? Я, честно говоря, тоже так подумал и даже как-то смирился. Но однажды поздним январским вечером у меня зазвонил телефон.

– Через двадцать минут выходите на угол Малой Набережной и улицы Свободы к Восточному мосту.

– А вы зво...

– Из машины.

На улице было темно и холодно. Проклятые 1990-е царили на улице Свободы. Из машин в те времена позвонить было невозможно. Тем не менее мы с женой двинулись вдоль замерзшего отводного канала в нашем богоспасаемом Тушине. Мело и не было вокруг ни души, только редкие автомобили и заблудившиеся трамваи переезжали через Восточный мост. А мы стояли и стояли, заметенные снегом, покуда черная шикарная иномарка не притормозила возле нас. Из нее выскочил невзрачный человечек в костюме и быстро сунул мне в руки небольшую подарочную сумочку. Ни фамилии, ни паспорта он не спрашивал, ни в какой ведомости я не расписывался. Машина газанула в сторону области, а мы двое, тихие и ошеломленные, не оборачиваясь, не оглядываясь по сторонам и не говоря друг другу ни слова, быстрым шагом пошли к дому, опасаясь того, что в проходных дворах на нас кто-нибудь нападет и отнимет то ли деньги, то ли «куклу». Но все завершилось благополучно: дома мы открыли пакет, в котором лежало двенадцать с половиной тыщ баксов сотенными бумажками.

Закончились они, правда, ох как скоро...

Я хотел быть писателем и ни на что больше не отвлекаться, но позволить себе этого не мог и продолжал работать в университете, защитил диссертацию, сначала кандидатскую, а потом докторскую, хотя, конечно, по большому счету это были не научные труды, а развернутые эссе на заданную тему, так что никаким ученым-литературоведом, доктором наук я себя не считал и не считаю и настоящего литературоведения боюсь и избегаю. Главным аргументом заняться наукой стали для меня даже не столько соображения карьеры, сколько свободное время – преподавать русский язык любознательным иностранцам мне поднадоело. А тут три года аспирантуры, а потом через некоторое время два – докторантуры. Написавший к тому моменту четыре

¹ А сейчас внимательный редактор меня поправил: людоед родился 18 декабря.

романа, я справился с диссертациями довольно легко – их и вправду было писать намного проще, чем прозу. А свободой времени замечательно воспользовался.

Еще в самом начале 1990-х после смерти отца у меня осталось небольшое наследство, и до гайдаровской реформы я успел купить на эти деньги избу-пятистенку на севере Вологодской области в среднем течении реки Вожеги. Это было чудесное место, и сколько же замечательных дней и недель я там провел, бродя по берегам озер, болотцам и лесам, скольких удивительных людей повстречал, сколько всего узнал, открыл, сколько насобирал на болотах клюквы и наловил окуней в Вожеге, а потом описывал эту местность и ее жителей в рассказах «Галаша» (это была моя первая новомирская публикация в 1992 году, и я ей страшно гордился!), «Старое» и в двух повестях, позднее опубликованных также «Новым миром» – «Дом в деревне» и «Падчевары». Последнее слово – топоним, название куста деревень, или волости, как поправил меня однажды Василий Белов.

Падчевары находились недалеко от беловской Тимонихи, и мне ужасно хотелось узнать, что бы сказал Василий Иванович, если бы ему довелось прочитать мои сочинения на деревенскую тему. Тем более что он для меня был самым дорогим среди всех деревенщиков. Не знаю, почему. Я не все принимал в его публицистике и не разделял во всем его взгляды, но я всегда интуитивно чувствовал: куда бы безоглядного Белова ни заносило, он никогда в отличие от многих писателей-патриотов, с которыми сталкивала меня судьба, не ловил рыбу в мутной воде, не искал личной выгоды и был бесконечно честен. Суров, упрям, сердит, запальчив, политнекорректен, но – неизменно благороден. И мне его мнение, мое незаконное вступление на его территорию – горожанин, москвич, написавший повесть о его краях, его героях, его природе, что-то вроде моего деревенского ответа на его городской роман «Всё впереди» – было особенно важно.

Случай представился в 2000 году, когда меня пригласили в Вологду поучаствовать в семинаре молодых писателей. Одним из руководителей семинара был Белов. Я подарил ему новомирскую книжку, где был напечатан «Дом в деревне», ожидая, что когда-нибудь услышу от него несколько дежурных слов, но уже на следующий день Василий Иванович вернул мне журнал, исчерканный его карандашом. Замечания были едва ли не на каждой странице – критические, одобрительные, придиричivé, возмущенные («Зачем нагнетать? Куда смотрел Залыгин?!»), но с очень лестным для меня выводом, который я не удержусь и впервые приведу: «Превосходная повесть! Если б еще не документализм, от коего подлинному художнику надо бежать как от чумы... Все равно, в “Н. м.” вряд ли было что-то более значительное за последние годы на тему о крестьянстве, следовательно о России. Белов. 3 декабря 2000».

С Беловым же была связана еще одна совершенно мистическая история. В 2002 году, когда ему исполнилось семьдесят лет, я хотел написать Василию Ивановичу письмо, поздравить, поблагодарить, сказать, как его люблю. Но – не написал, замотался, не знал адреса, и все продуманные слова так и остались невысказанными. Прошло еще несколько лет, и я снова увидел Василия Ивановича в Москве, в атриуме Большого театра, где ему вручали премию «Ясная Поляна». Подошел, поздравил его, уверенный, что он меня давно позабыл, но Белов глянул из-под седых бровей строгими колючими глазами:

– Спасибо вам за письмо, – и я так и не понял, прозвучала в его голосе укоризна или благодарность.

...А от художественной прозы я на несколько времени отошел и как раз в сторону нелюбимого Беловым документализма. Я защитил докторскую диссертацию по дневникам Пришвина, которые поразили меня не только тем, что совершенно меняли мои представления об их авторе как исключительно о певце русской природы, но и многое проясняли во взгляде на русскую, советскую историю XX века, а следовательно, и на жизнь моей бабушки тоже. Именно Пришвин стал моим первым героем в серии «ЖЗЛ» в издательстве «Молодая гвар-

дия». Я писал эту книгу как монографию, для того чтобы защититься, и собирался поставить на этой работе точку, превращаться в жизнеописателя, в серийного автора-маньяка никакой охоты у меня не было. Но мой роман с биографиями затянулся. Случилось так, что в 2003 году я уехал на два года в командировку в Словакию преподавать русскую литературу. Там было очень хорошо: небольшой красивый город с труднопроизносимым названием Трнава, горы, пещеры, термальные воды, бассейн, футбол, много свободного времени – в общем, что называется – пиши, не хочу, но я вдруг почувствовал, что у меня проза не идет, не пишется. А время чем-то занимать надо было. И тогда я предложил «Молодой гвардии» написать еще какую-нибудь биографию. Например, Паустовского, который мне с детства нравился и всегда казался очень интересным человеком.

– Нет, Паустовский после Пришвина это банально, – сказал Андрей Витальевич Петров (главный редактор). – Вы лучше напишите нам про Грина. Или про Алексея Толстого.

Я был к обоим, ну, если не равнодушен, то спокоен. Читал, как и все в юности, «Алые паруса», читал «Петра I», «Хождение по мукам», «Буратино». Но за работу взялся, потому что профессия обязывает (я именно в этот момент почувствовал, что писательство – это профессия), и это оказалось захватывающим занятием! И оба моих героя получились вдруг совсем не такими, как я себе представлял. Собственно, это открытие, переворот, погружение в чужую жизнь, растворение в ней, следование за мыслями и поступками живших столетие назад людей стали не менее увлекательными, чем сочинительство в чистом виде. Единственная сложность состояла в том, что я обретался в Трнаве, а архивы были в Москве, и мне приходилось мотаться туда-сюда, набирать в РГАЛИ материалы, а потом возвращаться в Словакию писать. Денег на самолет не было, и я ехал на электричке сквозь Татры через всю страну, потом пешком переходил границу с Украиной в Ужгороде, и дальше уже трясся полтора суток по бывшему СССР. Граница между Россией и Украиной, где нас будили и заставляли показывать паспорта, казалась совершенной нелепостью, временным недоразумением. А я все больше и больше входил во вкус документальной прозы, в каком-то смысле «подсел» на нее и вслед за этим, уже вернувшись в Москву, написал биографию Михаила Булгакова, Андрея Платонова, а потом Василия Шукшина. И одну не совсем писательскую – Григория Распутина.

О каждой из этих жэзээловских книг (всего их получилось семь) я могу рассказывать бесконечно долго: о том, как они создавались, почему именно эти герои, почему в такой последовательности, кто из них мне ближе, кто дальше, кто помогал о себе писать, а кто – нет. Этот опыт был для меня чрезвычайно важен, потому что он научил меня очень существенным вещам. Во-первых, героев не только судить нельзя, но их надо обязательно полюбить. Может быть, не в начале книги, но совершенно точно в конце. Если не полюбил, значит, проиграл, значит, ничего у тебя не получилось. Только полюбить надо честно, по-шукшински, ничего не скрывая, не затеняя, а – любя неправых. Во-вторых, когда пишешь книгу и, естественно, опираешься на документы – дневники, письма, автобиографическую прозу, мемуары, – ничему не верь. Врут все. Врут намеренно или по забывчивости, создают мифы или уводят от правды, но твоя задача – бережно, нежно распутывать этот клубок, разбирать тончайшие нити и наслаения и пытаться запеленговать, запечатлеть мерцающий свет ускользающей истины. Возможно, именно эта жажда докопаться до сути, понять через писательские судьбы что-то важное про собственную страну, ее историю, ее семейные тайны и родовые травмы и удерживала меня так долго на этом историческом поле и не отпускает до сих пор.

Одним из самых неожиданных и радостных последствий этой работы стал звонок Солженицына весной 2006 года, в Прощеное воскресенье. Александр Исаевич сообщил, что мне присуждена созданная им литературная премия с формулировкой «За тонкое исследивание в художественной прозе силы и хрупкости человеческой души, ее судьбы в современном мире; за осмысление путей русской литературы XX века в жанре писательских биографий». Удивительно здесь было то, что Солженицыну неожиданно понравилась моя книга об Алексее Тол-

стом, о котором сам Александр Исаевич написал довольно резкий, по большому счету справедливый, хотя все-таки и несколько сужающий образ главного героя рассказ «Абрикосовое варенье». Я же своей книгой пытался показать, что Толстой был сложнее, богаче, шире, неоднозначнее, и Солженицын, как мне кажется, косвенно мою правоту признал.

И еще одно любопытное обстоятельство, с солженицынским рассказом связанное. Действие в нем происходит в конце 1930-х, когда Толстой был женат четвертый раз, но жена писателя в «Абрикосовом варенье» не участвует, про нее сказано лишь то, что ее не было дома. Этот жест, эта фигура умолчания мне кажутся глубоко не случайными: в середине 1960-х Людмила Ильинична Толстая предлагала автору «Одного дня Ивана Денисовича» поселиться на даче Алексея Толстого в Барвихе и поработать за его столом. Александр Исаевич от приглашения уклонился, но вдову в своем рассказе «пощадил».

Я писал биографии, меня называли профессиональным биографом, кто-то с похвалой, а кто-то осуждающе, но я чувствовал, что эта тема истончается, и подспудно во мне зрел замысел романа, в котором можно было позволить себе то, что невозможно, с моей точки зрения, в документальной прозе: диалог, пейзаж, описание погоды, вымысел, свой личный взгляд на вещи. Так я стал сочинять роман, который впоследствии получил название «Мысленный волк», хотя оно родилось не сразу и образ этого «зверя из бездны» возник уже в ходе работы над романом. Я очень хорошо помню, как все начиналось. Было душное, безумное лето 2010 года, даже в ста километрах от Москвы под Рузой в лесном домике, где я сочинял первые страницы романа, не зная, куда заведет меня сюжет, пахло гарью, а я писал про лето 1914-го, когда Россия находилась на пороге войны. Писал о далеком, казалось бы, прошлом, и трудно было поверить, что его призрак вернется и слова одного из моих героев о том, что Россию окружают враги и она должна уйти из мира, потому что мир неправ, а она – права, странным образом отзовутся несколько лет спустя.

Вскоре после выхода романа мне позвонил режиссер Владимир Хотиненко и предложил снять по «Мысленному волку» фильм. У него был замечательный замысел, он очень тонко понял мою книгу и нашел опорные точки, которые могли бы лечь в основу сценария, но, к сожалению, картина выходила очень дорогой, дело застопорилось, и кино пока что так и не сняли.

А в моей жизни случилась еще одна перемена – в 2014 году мне предложили стать ректором Литературного института, где я уже работал восемь лет, вел семинар прозы, опять-таки с благодарностью вспоминая Колунцева и его наставления. Но ректорство? Это было очень неожиданное предложение. До того момента я никогда никем не руководил (и очень не любил, когда пытались руководить мной), если не считать журнала «Литературная учеба», но это совершенно особенная история, и потом там я не отвечал ни за финансы, ни за кадры, а занимался только содержанием. Теперь же мне предстояло совсем иное. Я колебался. Но Литинститут мне нравился. Многие из моих друзей в писательской среде вышли оттуда, и мне было симпатично их особенное писательское сообщество. К тому же я давно полюбил старинную усадьбу в самом центре Москвы, ее дворик, большие деревья, историю, мифы, тени прошлого. Я рассуждал так: конечно, я могу отказаться и написать еще одну биографию или роман, но это в моей жизни уже было. А ректорства не было. Мне показалось это вызовом, приключением, авантюрой с неизвестным исходом, но даже если я об этом пожалею, то лучше жалеть о том, что произошло, нежели о том, чего не было. И я – рискнул.

Первые недели, месяцы были кошмарными. Ночами я просыпался в холодном поту, приходил на работу напряженный, внутренне растерянный и злой, ощущая себя самозванцем. Я не умел и не понимал ничего, на меня обрушилось сразу столько нового и неизвестного, что казалось, оно придавит меня своей глыбой, да еще надо было думать про реконструкцию здания, общежитие, столовую и кучу других вещей, о которых я прежде не имел никакого понятия. Но мир не без добрых людей, я встретил в Лите хороших, надежных товарищей, без кото-

рых у меня ничего не получилось бы. И не получилось бы выкроить время, чтобы написать последний (крайний) на сегодняшний день роман, относящийся к временам моей университетской юности. Я хотел назвать его «Глокая куздра», но в издательстве название отклонили. Так появилось другое – «Душа моя Павел». В чем-то оно перекликается с моей давней, опубликованной четверть века назад в «Знамени» студенческой повестью «Здравствуй, князь!». И там, и там в названии – Пушкин.

Этот роман для меня что-то вроде прощания с университетом, откуда мне психологически очень трудно было уходить. Я всегда считал себя университетским человеком, и хотя мне не раз предлагали работу в редакциях, в издательствах, я не мог переступить через эту черту, однако, как мне кажется, именно написав «Павла», поставил в своих отношениях с альма-матер благодарную точку.

Чем дальше живу, тем меньше склонен ругать – прошлое ли, настоящее ли, будущее, патриотов, либералов, государственников и выяснять, кто из них лучше, а кто хуже, выставлять оценки историческим персонажам и периодам, да и современникам тоже. Россия – большая, история у нее долгая, пестрая, места и времени хватает всем, надо просто уметь говорить друг с другом, не лукавить, не искать врагов и не подозревать повсюду пятую колонну. А что написать про взгляд на искусство, я не знаю. Я равнодушен к теории, мне нет дела до разницы между модернизмом и постмодернизмом, постреализмом и новым реализмом, к которому меня иногда причисляют, я не люблю партийности и верю в писательское братство, хотя и понимаю, насколько индивидуален и одинок каждый из нас. Но когда мы собираемся каждый год в сентябре в Ясной Поляне и проводим вместе несколько замечательных дней, обсуждаем, спорим, вспоминаем, выпиваем, ходим по яснополянскому парку и смотрим на звезды, это дружество становится высшей реальностью.

В начале 1990-х, когда мой первый роман еще не был опубликован, его прочитал в рукописи Вадим Валерьянович Кожин и пригласил меня к себе домой на Поварскую. Мы долго говорили на разные темы, и я помню, как среди прочего он сказал так: «Искусство – это не рассказ о жизни, это – жизнь, которая рассказывает о себе». Не знаю, насколько мне это удастся, но я испытываю к литературе невероятную благодарность за ту жизнь, которую она мне подарила. За пережитое, увиденное, встреченное. За свою бабушку.

Факты сердца Проза

Рождение Повесть

Часть первая

1

Первый раз младенец шевельнулся в животе матери на исходе пятого месяца своей жизни. Его крохотные мягкие ручки и ножки уже давно задевали гибкую стенку матки, но прежде их движения были слишком слабыми, и женщина их не ощущала. Теперь же она почувствовала легкое прикосновение, вздрогнула и прислушалась. Он толкнулся снова, и если бы кто-нибудь увидел в эту минуту ее лицо, то, будь это даже человек очень холодный либо ожесточенный, он бы наверняка многое простил всем несовершенствам и несправедливостям земной жизни. Но кроме большой лохматой собаки видеть ее было некому: муж уехал в лес, и она была одна в просторной, по-осеннему прохладной квартире, где все отличалось когда-то крепостью, добротностью и порядком, а теперь медленно приходило в запустение.

Женщине было тридцать пять лет, это была ее первая беременность, и возраст, некрепкое здоровье и хрупкое телосложение сильно ее беспокоили. Она добросовестно и вовремя обошла всех положенных врачей, и хотя ее предупреждали, что беременность будет сложной и, возможно, она ее не доносит, никто поначалу не говорил ничего плохого.

Давали обычные в таких случаях советы, но все равно последние месяцы женщина жила в неуверенности и тревоге, со страхом прислушиваясь к тому, что происходит в глубине ее тела.

От этой тревоги и неопределенности она никому, ни мужу, ни матери, ни ближайшим подругам, ничего не говорила про свое положение, а хранила и носила в себе эту тайну, опасаясь сглаза, несчастья, несвоевременных поздравлений, любопытства и удивления.

Она была замужем двенадцать лет, и давно все родные и знакомые, прежде шутливо намекавшие на потомство, но постепенно замолчавшие, были уверены, что она никогда не родит. Своим тактичным молчанием они уверили в том же и ее, и когда то, чего она так ждала и отчаялась дожидаться, внезапно свершилось, ее охватил трепет. Она долго боялась и не разрешала себе поверить окончательно, пока в угрюмом, всегда избегаемом ею учреждении с нелепым названием «женская консультация» ей не подтвердили: беременна, предположительно восемь недель, будете оставлять? – холодно, даже неприязненно; но когда она их торопливо перебила, конечно, оставя, обошлись приветливее, с непривычной для этого места заботливостью и велели через месяц приходиться ставиться на учет.

Все это показалось ей тогда странным и необъяснимым, тем более что в последние годы они редко бывали с мужем близки. Их брак, заключенный когда-то не столько по любви, сколько вследствие наваждения, давно перешел в привычку, и бывшая страсть превратилась в заботу друг о друге, а потом и эта забота угасла. Почему так случилось и можно ли было этого избежать, она не знала, но то, что у нее не было ребенка, не просто ее печалило, а обесмысливало саму ее жизнь. Она никогда не говорила на эту тему с мужем и хотя допускала, что он тоже

страдает, вся вина ложилась на нее, или она незаслуженно ее на себя брала, если только можно говорить о вине в подобных случаях. Впрочем, в глубине души она имела свое объяснение, почему так долго не могла забеременеть: от нее слишком ждали этого ребенка – его родители, он, ее родители – и в минуты близости она никогда не могла расслабиться и отвлечься от этой настойчивой мысли. Так что со временем даже супружеские отношения потеряли для нее всю прелесть и превратились в скучную утомительную обязанность, которую она под всяческими предложениями избегала.

Наверное, она была плохая жена своему мужу, но ни он, ни его жизнь интересны ей не были. Совместное проживание казалось чем-то вынужденным, и сколько она ни пыталась убедить себя в том, что в мире миллионы бездетных семей и сотни тысяч из них счастливы, а если и несчастны, то совсем по другим причинам, к ней эти рассуждения не имели никакого отношения.

Муж никогда не высказывал недовольства, он много и увлеченно работал, на выходные и праздники часто уезжал в лес и возвращался оттуда свежий и отдохнувший. Он был по-своему к ней внимателен, но подспудно в ней жило убеждение, что рано или поздно она останется одна. Она была к этому готова и ничуть не удивилась бы, если бы однажды он сказал, что уходит. Она полагала даже, что если он этого и не делает, то лишь потому, что ему мешает дурно понимаемая порядочность, но все это заставляло ее, умную, спокойную женщину, становиться подозрительной, мелочной, прислушиваться к его телефонным разговорам, напрягаться, когда он где-то задерживался, и барахтаться в отвратительной житейской мути.

Это чувство, равно как и мысль, что он ей изменяет, казалось настолько унижительным и их самих недостойным, что иногда она всерьез задумывалась о том, чтобы уйти первой и освободить этого человека, которого она теперь если не любила, то все равно уважала.

Она была готова сделать это сама, потому что сейчас это было легче, чем через несколько лет, когда она станет зависимее и слабее. Но в то лето, которое она выбрала для разрыва, и подоспели неприятные признаки – сонливость, усталость, тошнота, что случалось с нею и раньше и что, обманываясь, она часто принимала за беременность, а потом жестоко разочаровывалась. И эта истинная беременность вторглась в жизнь женщины, заставив ее позабыть обо всех своих подозрениях, невысказанных упреках и намерениях.

То, что испытала она в те летние месяцы, вернее всего следовало назвать ужасом перед собственным, но точно чужим, стремительно меняющимся телом и еще более изменившейся психикой. Она сама себя не узнавала и не понимала: ей часто хотелось плакать и сделалось невыразимо жалко себя. Никогда она не чувствовала себя такой беззащитной, уязвимой, одинокой и никому не нужной, и никогда окружающий мир не казался ей столь враждебным и жестоким. Она боялась подолгу оставаться дома одна, боялась выходить на улицу, боялась куда-нибудь ехать. Все время ей мерещилось: что-то случится с трамваем, загорится поезд в метро, взорвется подложенная террористами бомба, упадет в темноте убийца или маньяк, и, ничего не говоря о своих страхах мужу, она инстинктивно к нему тянулась, хотя в последние годы он только раздражал ее молчаливостью.

Должно быть, от внимательного взгляда все эти вещи едва ли ускользнули бы, однако муж был слишком занят собою, чтобы обращать внимание на подобные причуды. И, сталкиваясь с его отчужденными глазами, она замыкалась и таила все в себе. Она жила словно в скорлупке, лелея и оберегая свое тело, пронося его как драгоценный сосуд, и даже баночки с мочой для анализа казались ей чем-то очень значительным, ибо имели непосредственное отношение к происходящему с младенцем.

Так прошло, словно в забытьи, лето, не жаркое в тот год, но душное и сырое, а потом наступила осень, и ей стало легче. Она не испытывала больше приливов дурноты, не падала в обморок и как будто успокоилась и затихла. В глубине ее тела жил маленький ребенок, жил с нею всегда – когда она гуляла, спала, ходила на работу, и хотя ей по-прежнему казалось, что

весь мир ополчился на нее, теперь, после того как дитя зашевелилось, она почувствовала себя не такой одинокой.

Женщина подошла к окну и отодвинула штору. Сильный ветер срывал с деревьев мокрые, светло-желтые, с ржавыми крапинками листья, листья падали в лужи, по лужам барабанил дождь, все было в лохмотьях – и небо, и земля, и люди с развевающимися полами плащей, торопливо проходившие по улице, наклонив головы и с трудом удерживая зонты.

А рожать ей только в феврале. Впереди еще вся осень и больше половины зимы: скользкие тротуары, снежные заносы, ранние сумерки и долгие глухие ночи. Она и страшилась и торопила время. Ее живот был пока не заметен, но скрывать свое положение удастся еще недолго. Она с тоской подумала о соседях, о любопытствующих бабках возле подъезда, о своих сослуживцах и родне, о новых перешептываниях, толках и преувеличенной заботе со стороны людей, которые были ей несимпатичны.

Дождь за окном не кончался, женщина не спеша оделась, позвала собаку и вышла из дому. Ей не слишком хотелось гулять в такую погоду, но она побрела вдоль канала, мимо шлюза, где уходили вверх в Волгу и вниз в Оку последние баржи. Ветер рвал мокнувшее на веревках белье, ходил по палубе одетый в непромокаемый плащ матрос в меховой шапке, равнодушно поглядывая по сторонам, и так же равнодушно и лениво смотрел через залитое дождем стекло в рубке капитан, гадая, сколько их продержат в этом шлюзе на северо-западной окраине Москвы.

2

Мужчина сбился с дороги, когда до деревни оставалось не более трех километров. Он решил сократить расстояние, пошел напрямик через лес и полчаса спустя понял, что заплутал. Давно должна была показаться деревня, а лес делался сырее и неприятнее, на смену елям и соснам пришел низкий ольховник, продирается через который было неловко и нелегко. Местность эта была расположена далеко на север от Москвы, здесь шел уже не дождь, а снег, случались крепкие утренники, лужи не успевали за день оттаять, и очень странно выглядели по обочинам заброшенных лесных дорог застывшие мерзлые сыроежки и рыжики.

Шел седьмой час, приближались сумерки, и мужчина пожалел, что не взял в этот раз собаку. Леса эти он знал недостаточно хорошо, и ничего другого, как ночевать здесь, ему не оставалось.

Присев на поваленное дерево, заросшее упругими опятами, он пересчитал оставшиеся в пачке сигареты – единственное, чем в отсутствие еды мог скрасить себе ночь. Их было шесть штук – четыре целые и две сломанные. Он взял сломанную, закурил, но она еле тлела. От земли, от деревьев, от неба тянуло стужей, сгущалась темнота, и ему сделалось жутковато. Даже топора, чтобы развести приличный костер, у него не было. Он с тоскою оглядел хмурое, студеное небо и уходившие к нему верхушки худых и гибких деревьев, взвалил рюкзак и решил, что будет идти, пока хоть что-то видно. Ветки хлестали его по лицу, ногами он задевал поваленные стволы и торчавшие в разные стороны сучья, несколько раз падал, порвал сапог, но упорство его было вознаграждено.

Полчаса спустя в плотных сумерках за редкими деревьями блеснула вода, и он увидел лесное озеро. Окруженное топким берегом и кривыми маленькими соснами, оно выглядело довольно зловеще, хотя необыкновенно красиво. Он никогда не бывал здесь прежде, но по рассказам местных знал, что где-то на берегу есть избышка, и, рискуя в темноте свернуть шею, пошел вдоль воды, пока не уперся в бревенчатый сруб.

В первый момент он даже отказался поверить в свое везение. В избышке то ли кто-то жил, то ли постоянно сюда навевывался, но, осветив спичкой, он увидел на столе керосиновую лампу, банку с чаем, кружки, консервы, дрова, пилу, топор и рыболовные снасти. «Не хватает только водки», – подумал он радостно, но водка, пожалуй, и не требовалась.

Минут десять он сидел без движения, наслаждаясь покоем и запахом жилья, выкурил сигарету, а потом затопил печку, принес воды, начистил и поставил вариться картошку. Теперь спешить было некуда, он делал все по своему обыкновению аккуратно, получая от каждого из этих простых действий то неизъяснимое, особое удовольствие, какое способен ощутить в лесу лишь горожанин. В десятом часу вечера, когда в избушке стало совсем тепло, он поужинал и, сидя у огня, покуривая крепкую «Астру» и попивая чай из озерной воды, погрузился в сонное, неторопливое течение своих мыслей.

Он думал о том, что еще недавно, всего несколько лет назад, он бы не смог почувствовать всю прелесть этой избушки и этого леса, его ощущения не были бы такими полными и глубокими, потому что он был слишком честолюбив, мучился от сознания своего несовершенства, к чему-то стремился, – теперь же, слава Богу, все это ушло. Быть может, его нынешнюю покойную и размеренную жизнь нельзя было назвать громким словом «счастье». Это было скорее довольство, понятие, заклеянное как обывательское, но, в сущности, безобидное и никому не причиняющее зла. Теперь все то, что он считал прежде целью каждого уважающего себя человека – дело жизни, признание, заслуженный успех, – потеряло былую привлекательность и в цене оказались совсем иные вещи. Наверное, это было чем-то вроде преждевременного старения, но он, мечтавший о невероятно интересной, захватывающей жизни, полной поездок, шума и встреч, он, желавший прославить свое имя и гордившийся собою, презиравший тех, кто разменивался на мелочи, довольствовался тем, что ходил в тихий академический институт, откуда разбежалась половина народу, не рассчитывал более ни на какую карьеру, ни на то, что его позовут за границу. Лучшими своими днями считал те, когда дважды в году, в мае и сентябре, ездил в глухую деревушку на границе Архангельской и Вологодской областей к скуповатой старухе с диковинным именем Текуза, которая за батон колбасы и два килограмма карамели сдавала ему комнату в громадной избе и весьма гордилась своим образованным непьющим постояльцем. При этом он не был ни охотником, ни рыболовом, ни грибником, в его отношении к природе не было ничего материального и корыстного. Он просто любил лес, любил по нему ходить, медленно и тихо, чтобы не вспугнуть раньше времени лесную птицу или зверя, слушать и вбирать в себя его запахи и звуки, и если и собирал корзину ягод или грибов, то делал это в охотку, не придавая этим дарам никакого значения. Местные жители его не понимали и считали за чудака, которому можно простить бесполезную трату времени лишь потому, что он горожанин, чужак, – а он был счастлив тем, что за целый день не встречал не только человека, но даже следов чьего-либо присутствия.

Лишь здесь ему было по-настоящему хорошо. Порою он думал, что пройдет еще несколько лет – и он переселится в эту деревню или в такую избушку насовсем, чтобы забыть о жизни, похоронившей его лучшие и худшие устремления, обижавшей его невезением, непониманием, черствостью, жизни, в сущности, не сложившейся по его ли вине или потому, что так вышло и жизнь не складывается у девяти десятых, только редко кто в этом сознается. Друзья, которых он растерял, потому что друзьям завидовал больше всех, и чем ближе был ему человек, тем больше раздражали его успехи. Те немногие женщины, с которыми он ненадолго сходился, но быстро остывал, чувствуя, что им надо тепла, а ему самому было холодно; жена, его совсем не понимавшая, чужая и равнодушная женщина, единственное достоинство которой заключалось в том, что она не мешала ему жить, как он хочет. А ведь если бы кто-нибудь сказал ему десять лет назад, что все так скучно и заурядно сложится, он бы этому человеку никогда не поверил. Он слишком высоко себя ставил и ценил, чтобы так быстро сдаться и опустить руки, а теперь и сам не знал, к лучшему или худшему то, что с ним произошло. Но в любом случае его судьба не самая печальная, по крайней мере, он свободен, здоров и у него еще будет достаточно времени и сил, чтобы насладиться лесными дорогами, остожьями, ручьями и не считать свою жизнь напрасной.

Дрова в печи догорали, и нужно было точно угадать момент, когда закрыть трубу, чтобы не выпустить лишнее тепло и не угореть. Это была достаточно тонкая вещь, и когда ему случилось топить печь, он иногда ошибался. Но теперь ошибиться не хотелось: ничто не должно было испортить этот вечер. Дрова еще переливались красным и желтым жаром, дрожали, рассыпались на угольки и подергивались налетом золы. Он отсел от печки и глядел, как отражаются огоньки в маленьком, затянутом паутиной окошке, выходившем на озеро. Интересно, кто срубил и хранил в порядке эту избу? Как она уцелела, не была разграблена и сожжена? Мало ли людей шляется нынче по лесам даже в этих глухих местах. Но, так или иначе, он был благодарен неведомому человеку, не просто избавившему его от необходимости ночевать в промозглом лесу, но подарившему ощущение счастья.

Мужчина закрыл печь, вышел из избушки и подошел по деревянным мосткам к озеру. Теперь определить его величину было невозможно, но, сколько он помнил, оно было совсем маленькое. Такие озера обычно бывают очень глубокими, и он с волнением подумал о непуганых громадных рыбах, которые медленно шевелят жабрами и где-то спят в ямах, изредка поднимаясь на поверхность, и во всем своем великолепии выбрасываются из воды. После жарко натопленной избушки холод был приятным, и он долго стоял на берегу, разглядывая то темную воду, то небо, где слегка прояснило и через лохматые облака проглядывали скуповатые редкие звезды. Он уже сильно замерз, но уходить было жалко, и он стоял и стоял на этом мостике, точно желая унести с собой ощущение темноты, смешанной с запахом озера и леса. Вдруг охватила его печальная и ясная мысль, что никогда больше такой ночи и такого пронзительного чувства благодарности миру и жизни за то, что они есть, у него не будет. Он не мог объяснить себе точно, отчего так подумал и что помешает ему прийти сюда снова, но от мысли, что он уедет, а озеро и изба останутся, ему сделалось тоскливо, как тяжелобольному человеку, в покойный и ясный день разглядывающему небо через запыленное больничное окошко.

Он вернулся в избу и в этом печальном настроении лег спать на грубые нары, подстелив под себя замасленную телогрейку. Спал он долго, беспокойно ворочался: он все-таки угорел слегка, а под утро замерз, и всю ночь его мучили сны, точно он куда-то едет по разбитой, некрасивой дороге на телеге с мерзлым картофелем, прицепленной к трактору, и не знает, куда и сколько еще ехать.

Когда он проснулся, погода переменилась. Нежное осеннее солнце освещало озерцо, и оно казалось не угрюмым, как накануне, а веселеньким и домашним, словно аквариум. Мужчина позавтракал и в знак благодарности оставил хозяину лесной избы складной нож.

По небольшому ручью, вытекавшему из озера, он спустился к реке, на которой стояла деревня, и пошел вдоль берега. Дорога была красива, на деревьях и на траве блестела паутина, шелестели под ногами листья, и в обнаженности леса было что-то музейное. Когда ему случилось подниматься на поросшие соснами гряды, открывались бесконечные темные дали, и казалось, что отсюда можно увидеть полунощное море. Он шел неслышно и неторопливо, и лицо у него было загадочным и вороватым, как у счастливого любовника.

Но когда несколько дней спустя он вернулся в свой заводской район возле водохранилища, у него возникло странное ощущение, что эта поездка в лес, самая удачная из всех, была дана ему как роздых перед чем-то очень тяжелым, с чем ему неминуемо предстоит столкнуться, и он не мог отделаться от смутной тревоги, затенявшей его радость.

– С тобой все в порядке? – спросил он жену, открыв скрипнувшую дверь в спальню.

Она ничего не ответила, но его взгляд, не равнодушный и отчужденный, как обычно, тронул ее.

– Что-нибудь случилось?

– Случилось, – волнуясь, неожиданно для себя самой произнесла она.

– Что?

– Я жду ребенка.

– Какого ребенка?

Она как-то виновато-довольно улыбнулась, как улыбалась только в первые годы их общей жизни, и показала руками на живот.

Однако загорелое, обветренное лицо мужа выразило не радость, а растерянность.

– И что ты решила? – спросил он осторожно, и она не сразу поняла, что он имеет в виду, а когда догадалась, то лицо ее потемнело, она остро пожалела о своих словах и подумала, что никогда ему этого вопроса не простит.

3

Младенец привык к организму матери не сразу. Первые недели, когда женщина еще не была уверена в своей беременности, между нею и крохотным зародышем шла яростная борьба. Ее оплодотворенная после стольких пустых лет Бог знает какая по счету яйцеклетка вызвала целую бурю, и все ее существо начало сопротивляться посторонней жизни. Будь женщина на десяток лет моложе или случись это не первый раз, сопротивление не было бы таким упорным. Но, лелея мысль о дитяти, мешая тревогу и страх с нежностью и любовью, она и помыслить не могла, насколько близок был зародыш к гибели. Однако от своих ли родителей, от природы или по воле Бога он унаследовал отчаянную цепкость и, несмотря на лихорадку первых месяцев, сумел прицепиться к стенке матки и крепко за нее держался.

Это был младенец мужского пола, обещавший стать здоровым и крепким мужчиной. Он изнурял мать, но сумел взять от нее самое нужное, он был жаден, эгоистичен, жизнестоек, у него были свои ощущения и эмоции – он делал все то, что следовало ему делать, и развивался, как развиваются миллионы человеческих детенышей, кому удалось избежать преждевременной гибели или внутриутробного убийства.

Большей частью он спал и во сне рос, но, отделенный от внешнего мира непроницаемой оболочкой, частично воспринимал происходящее за пределами материнского живота. Он любил, когда мать гуляет, любил мелодичные плавные звуки, но плохо переносил, когда она нервничала, боялась или съедала что-нибудь острое. Он был весь в ее власти и целиком от нее зависел во всех мелочах, между ним теперешним и тем, кем ему предстояло стать, лежало громадное расстояние, несоразмерное с самой человеческой жизнью, и преодолеть его было еще сложнее, чем прожить жизнь.

Подобно тому как в спокойствии ясного дня облачко на горизонте может означать приближение ненастья, в организме женщины исподволь накапливалось и развивалось неблагоприятное. Оно было пока незаметным, его не могла почувствовать ни сама женщина, ни определить опытные врачи или умные приборы, но младенец забеспокоился и принялся посылать матери сигналы, выплескивавшиеся в мутных снах.

Эти сны были поначалу мимолетны, и, просыпаясь, она их не помнила, лишь чувствовала себя после ночи разбитой. Но однажды ее разбудило особенно пронзительное сновидение. Была лунная ночь, комнату освещал зыбкий неприятный свет, ей чудился привезенный мужем запах леса, костра, грибов, болота и лесных ягод – запах, который она так любила прежде, но теперь раздражавший ее, как почти все запахи.

Несколько минут она лежала не двигаясь, вытянув руки вдоль затекшего, онемевшего тела, и ждала, не шевельнется ли маленький. Но, утомленный, он заснул, и она опять почувствовала себя одиноко. Сон не шел: женщина с трудом повернулась на бок и поглядела в окно. Там, за деревьями с поредевшей листвой, медленно и бесшумно двигалась самоходная баржа. Она остановилась в шлюзе и стала подниматься, вырастая до размеров невероятных.

Женщина включила ночник и взяла молитвослов. Она не была прежде религиозна и даже крещеной не была, но, с тех пор как забеременела, читала тайком от мужа утренние и вечерние молитвы. Она не могла в точности объяснить, зачем это делает, тем более что чужие, непо-

нятные и таящие в себе угрозу слова не приносили ей ни утешения, ни облегчения, и, всю жизнь далекая от Бога и церкви, она казалась себе теперь самозванкой, но отступить было еще страшнее.

В последнее время она много думала о своей жизни, о странных совпадениях и обстоятельствах, ей сопутствующих, о том, почему именно теперь был послан ей этот ребеночек, и никак не могла отрешиться от мысли, что все случившееся с нею произошло вопреки тому, что зовется судьбою. Ребенка у нее быть не должно, и законы природы, к человеку безжалостные и бесстрастные, эту ошибку могут в любой момент исправить. А потому, если у нее родится ребенок, то произойдет это лишь неким чудесным образом. Размышляя так, она решила, что не может носить и родить, будучи некрещеной, но всякий раз, когда она приближалась к церкви и входила в холодное, пустынное здание с его заунывным пением, возгласами причта и шепотком молящихся, ее охватывал озноб. Она не хотела туда – там все было слишком чужое и немилосердное, там пугали ее и взгляды святых на иконах, и колючие взгляды церковных старух, и, постояв несколько минут, она торопливо выходила на улицу.

Но в ту ночь она почувствовала, что откладывать дальше нельзя, она была слишком встревожена тягостным сном, в котором ее дитя жаловалось. Женщина нежно поглаживала живот и смотрела в окно: уже совсем рассвело и давешняя громадная баржа ушла в водохранилище. Утро было туманным и тихим, обещая солнечный день – один из тех редких теплых дней начала октября, какой посылает природа людям, прежде чем замереть, и она подумала, что если не решится креститься сегодня, то не сделает этого никогда.

4

Когда женщина вошла в храм, шло причастие в алтаре. По случаю воскресенья народу было много, люди томительно переминались, что-то невнятно бубнил чтец возле левого клироса, и от духоты и запаха ладана ей стало дурно. Она подошла к старухе в черном халате, стоявшей за свечным ящиком, и та сказала ей, что крестить будут после службы в крещальне.

Мужчины, женщины, патлатые парни и орущие младенцы с крестными и вопреки запрету пробравшимися родителями, видеокамеры, фотоаппараты, вспышки – десятка три или четыре человек набилось в небольшое помещение с бассейном, недавно выстроенное возле храма. И все, что последовало затем, когда пришел монашествующий батюшка с большой залысиной и редколесной бородкой, выстроил всех в круг, раздал свечи и, торопливо обходя собравшихся, стал совершать таинство – действие, менее всего к этому слову подходящее, а потом сначала мужчины, затем женщины окунались в маленький бассейн-купель с мутной водой – поразило ее своей грубостью, суетливостью и несоответствием тому, что она от этого дня ждала, и подумалось даже, не обман ли это и можно ли считать такое крещение вступлением в пугавшую ее Церковь.

Однако когда все было окончено, женщина почувствовала облегчение. До последней минуты она боялась: что-то помешает свершиться тому, что произошло в этом переполненном помещении, где ей пришлось раздеться донага, и она ловила на себе удивленные взгляды других женщин; она боялась, что не будет допущена, и теперь испытала благодарность почти детскую, чистую, что никто ее не остановил и у нее и ее младенца, уже как бы крещенного во чреве матери, есть свой ангел-хранитель.

В этом благостном настроении она медленно шла домой и тихонько рассказывала ребенку, что теперь он не должен ничего бояться, все будет хорошо и ничто им больше не грозит. Но когда она поднялась в квартиру, то увидела в глазах мужа тревогу.

– Где ты была?

Она пожала плечами и ничего не ответила, потому что вообще была с ним холодна после того вопроса, и уж тем более не собиралась рассказывать о крещении – он бы не понял ее

и сказал со своей обычной снисходительностью, что креститься – это не таблетки от кашля принимать, и если она думает таким образом помочь себе и ребенку, то глубоко ошибается.

Но муж сказал совсем другое:

– Ты знаешь, что происходит?

– Нет.

– Война, – ответил он лаконично.

Остаток дня они просидели у телевизора, пока не отключили первый канал, а поздно ночью мужчина собрался и поехал в центр города. Он уже уезжал два года назад в августе и поехал теперь, потому что очень уважал пухленького, мило причмокивающего единственного интеллигентного и порядочного человека, пробравшегося во власть, этой властью отвергнутого и преданного, а теперь призывающего всех честных людей встать на ее защиту. А женщине снова сделалось страшно. Ей было все равно, кто с кем воюет и кто победит, но сообщения были такими кошмарными, что всю ночь она не могла уснуть. Ей представлялись дома с выбитыми стеклами, отключенным электричеством и водой, пустые магазины, очереди, толпы людей, выстрелы. А если именно в это время ей придется рожать?

Уснуть она не могла. Собственная квартира казалась ей ненадежной, и, хотя в их районе было тихо, страх был сильнее рассудка, ибо это был страх не за себя, а за младенца.

Чтобы успокоиться, она взяла Евангелие. Она вспомнила, когда-то давно читала одно место, имевшее непосредственное отношение к тому, что происходило вокруг, и к ней самой. Она стала торопливо листать потрепанную дореволюционную книгу, где половина страницы была на старославянском, а другая – на русском, и глаза выхватили из текста: *также услышите о войнах и военных слухах, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам... и тогда соблазняются многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и по причине умножения беззакония во многих охладет любовь...*

Она читала очень быстро, но каждое из этих зловещих и, казалось, уже осуществившихся предсказаний грозно отдавалось в ее сердце, и наконец дошла до самого важного: ГОРЕ ЖЕ БЕРЕМЕННЫМ И ПИТАЮЩИМ СОСЦАМИ В ТЕ ДНИ! Она прочла эту строчку и снова ощутила физическую дурноту, как и в первые недели беременности. Ей сделалось душно, и, держась рукою за стенку, она пробралась к балкону.

Ночь была звездная, прохладная и тихая. Пахло сыростью и прелой листвой; мигая огоньками, двигалась по каналу баржа, и гудела вдали электричка – все было как всегда, с той поры, как она помнила себя выросшей в этом доме девочкой. *Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. А с ней все произойдет именно зимою...*

Женщина смотрела на темный парк, на жилые дома по ту сторону водохранилища и едва угадываемую в ночи телебашню, где шел в это время бой, и думала о том, что от ее крещения ничего не изменилось, а только отчетливее прояснилось: ее не рожденное еще дитя стало заложником и жертвой охватившего город безумия.

Он не хотел родиться в этот мир, он боялся его, и с этим страхом поделаться ничего она не могла. Она физически ощущала приближение беды, и осторожный, лукавый вопрос, заданный мужем в тот день, когда она сказала ему о беременности, показался ей не таким кощунственным. Может быть, он был прав, и если зачатие не произошло раньше, не следовало испытывать судьбу теперь, когда против них было все, что только могло быть. И даже Тот, у Кого искала она защиты, предрекал ей горе.

Под утро вернулся мужчина.

Он сел возле телевизора и смотрел, как американские корреспонденты направляют камеры на дымящееся здание, на пробегающих людей, машины, танки, лицо у него было недоуменное и незащитное, точно он вдруг помолодел и поглупел. И ей странно было думать, что

этот человек станет отцом ее ребенка. Между ними давно уже не было ничего общего: она не могла высказать ему ни одно из своих опасений, ни на что пожаловаться – она была предоставлена самой себе. Но самое главное было не это – и она отчетливо понимала: весь ужас был в том, что их ребенок был зачат без любви.

5

Первый колокольчик прозвенел в конце октября. В тот день женщине сделали ультразвуковое исследование и велели срочно лечь в больницу.

– Это что-то серьезное? – спросила она у пожилой врачихи, выписывавшей направление, и внутри у нее все жалобно заныло.

– Милочка, в гинекологии и акушерстве серьезно абсолютно все, – ответила та, не поднимая головы.

– И надо обязательно в больницу?

– Пишите расписку, что отказываетесь, но я за жизнь вашего ребенка не ручаюсь.

– Нет-нет, я согласна, – сказала она торопливо и заискивающе, – приходилось вырабатывать эту отвратительную манеру общения – и спросила:

– Скажите, а как по-вашему, что с ним?

Врач оторвала глаза от листка и сквозь толстые очки посмотрела на нее:

– У вас очень серьезная патология, и, судя по всему, плод развивается с грубыми пороками.

– Но ведь я себя хорошо чувствую, – возразила женщина, отчаянно цепляясь за призрачную надежду, что все это только ошибка.

– Да он у вас там умрет, вы ничего не почувствуете.

– А разве так бывает? – спросила она растерянно.

– Сколько угодно.

Ее поразил какой-то дьявольский сладострастный блеск, мелькнувший в глазах врача, и она запоздало подумала, что не надо было ничего спрашивать, потому что, даже если эта старуха и находит удовольствие в том, чтобы говорить гадости, даже если это ложь или дополнительный аргумент упрятать ее в больницу, все равно оставшиеся дни до родов будут отравлены одной-единственной фразой: «Да он у вас там умрет, вы не почувствуете».

Она вышла из кабинета, не чуя под собой ног, и взмолилась: толкнись, маленький, ну толкнись, но младенец затих. Всю дорогу до дома ее трясло, она боялась, что опоздает и ребенка не успеют спасти.

– Может быть, тебе чем-нибудь помочь? – спросил муж, наблюдая за ее лихорадочными сборами.

Она посмотрела на него невидящими глазами:

– Узнай, где эта улица, – и протянула бумажку с адресом.

Больница находилась в одном здании с роддомом на краю большого поля и в сумерках возвышалась над ним, как застывший корабль с рядами освещенных окон. В приемном отделении ей велели снять с себя все вплоть до белья, нательного крестика и обручального кольца. Она отдала вещи мужу, и уже когда, закутавшись в больничные халат, просталась с ним, ее поразил его взгляд: он смотрел на нее с жалостью и страхом, как смотрят дети на взрослых, когда заболевают и им становится жутко оттого, что рушится целый свет. Он ничего не говорил, а только держал ее за руку и смотрел, и она чувствовала на себе этот взгляд и тогда, когда дверь за нею закрылась.

А мужчина медленно пошел домой в пустую квартиру. Его встретила жалобным поскуливанием собака, он налил ей холодного супа, но сам есть не стал и не раздеваясь прошел в

комнату. Надо было что-то делать, но у него не было ни желания, ни сил, и он сидел в кресле очень долго, пока совсем не стемнело.

Прошло больше месяца с того утра, когда жена сказала ему, что беременна. И если сначала, давно уже не думавший о ребенке, он воспринял это известие настороженно и отнесся как к какой-то помехе, то теперь снова, еще больше, чем когда бы то ни было, и совсем иначе, чем в молодости, он полюбил мысль, что станет отцом. Это точно давало ему некий шанс возместить и исправить то, что казалось уже навсегда утерянным, и пусть не в себе, но в своем ребенке осуществить неосуществленное им самим.

Особенно отчетливо он это понял в ту зябкую ночь в центре Москвы, в негустой толпе защитников демократии, собравшихся под памятником Юрию Долгорукому, он понял, хотя никогда бы и никому в этом не признался, что ему нет дела ни до судьбы страны, ни до судьбы демократии, пусть придет диктатор или иноземный завоеватель, он не шевельнет и пальцем, потому что его собственная жизнь была теперь нужна ребенку. Он смотрел на жену с надеждой и мольбой, он был готов простить ей ее холодность, равнодушие, отчужденность, только бы она родила здорового, крепкого сына, потому что иначе вся его жизнь и даже та избушка на лесном озере, его странствия по лесам и болотам, все это очарование и восхищение природой будут не выходом, а тупиком, все это имеет смысл лишь в том случае, если будет кому подарить и оставить эти леса и горьковатые запахи осени. И теперь, когда жену положили в больницу, когда выяснилось, что с ее беременностью не все благополучно, он испытал ужас. Он мог смириться с тем, что из него ничего не получилось, но мысль, что его еще не родившемуся ребенку угрожает опасность, была для него нестерпима.

Видеться с женой он не мог, разрешали только звонить по телефону из вестибюля. В этом нарядном, сверкающем вестибюле, украшенном несколькими стендами с фотографиями, на все лады рекламирующими платные роды и аборт, стояли два телефона. Вокруг них собиралась большая очередь, и он невольно слушал, как ликующие, ошалевшие от счастья отцы, бабушки и дедушки поздравляли рожениц и подбадривали тех, кто вот-вот должен был родить, что-то кричали, спрашивали, вырывали друг у друга трубку и точно соревновались в том, чтобы наговорить как можно больше ласковых слов. И ему в довершение ко всей его душевной сумятице было нестерпимо обидно на них смотреть и думать, что у жены все осложнено какими-то обстоятельствами и неизвестно, как все еще пройдет. Когда же очередь доходила до него, он говорил, чуть прикрыв трубку ладонью, вполборота, воровато, но все равно ему мерещилось, что все догадываются и смотрят на него с неловкостью. Его никогда не поторавливали, но он спешил, комкал слова и быстро уходил, отдавая бабушке в белом халате передачу с фруктами и кефиром.

На улице он искал глазами жену, вознесенную на самый верхний этаж этого здания, но трудно было понять, какая из застывших у громадных окон женщин его жена. Он махал рукой наугад, а потом поворачивался и шел к метро, чтобы завтра прийти снова и услышать от жены спокойные и ровные слова, узнать, что за ночь ничего не произошло, ей делают уколы, ставят капельницы, дают таблетки, и все идет своим чередом.

6

Она говорила с мужем уверенно и спокойно, но когда он уходил – она провожала его глазами до угла серого жилого дома, – ее охватывало невыразимое отчаяние. Ей было худо, очень худо в этой сверкающей чистотой больнице. Никогда в жизни она не видела ничего более гнетущего, чем отделение патологии в родильном доме.

С утра до вечера по этажу ходили, как сомнамбулы, нечесанные женщины, каждая погруженная в себя, со своими несчастьями, болями, думами и бессонницами, лежавшие кто по месяцу, а кто и не по одному в постоянном страхе и изматывающем ожидании. Она избегала

слушать их разговоры, все об одном и том же – об аномалиях, пороках, отклонениях, когда они собирались после ужина вместе и точно заводили друг друга. Но волей-неволей узнавала вещи, о существовании которых прежде и не подозревала. Чего только не было в природе, какого дьявольского изобретательства она не проявляла, чтобы превратить и без того непростые вещи – беременность и роды – в муку. И когда она думала о своем ребенке, ей хотелось, чтобы родился мальчик и никогда не узнал того, что узнала за эти три недели она.

Порою ей казалось, что она попала сюда по ошибке, что ей ничего не делают, если не считать нескольких уколов и капельниц, ей не нравился лечивший ее врач, скучающий, безразличный мужик сорока лет, равнодушный и к ней, и к ребенку и ничего определенного не говоривший про ее состояние. Было вообще непонятно, что она тут делает и что тут делают с ней. Часами женщина простаивала возле окна и глядела на мерцающую и тревожно переливающуюся огнями Москву, на глухой, уходивший за кольцевую дорогу лес.

За все это время она сошлась только со своей ровесницей, попадье. Попадья рожала уже в шестой раз, она ходила по коридору с огромным животом, переваливаясь, как гусыня, но было в этой дебели, раздавшейся женщине с редкими волосами и увядшей кожей что-то очень привлекательное и несмотря ни на что красивое. Каждый день к ней приходил бородастый, худощавый муж с целым выводком детей, они стояли под окнами, кричали и махали ручками, попадья давала по телефону строгие наставления, и от этой сильной, крепкой женщины исходила уверенность. Она точно дарила надежду, что когда-нибудь бессмысленное заточение окончится и окажется, что это страдание было необходимым. Но потом попадья ушла рожать, и женщина осталась одна.

Дела ее были не слишком хороши. У нее была фетоплацентарная недостаточность или, как более доходчиво объяснила заведующая отделением, слишком раннее созревание плаценты. Ребенку покуда ничего серьезного не угрожало, и он развивался нормально, но если это созревание не остановить и не подкрепить организм матери, то плод начнет страдать от недостатка питания и кислорода.

Заведующая говорила довольно мягко, она не запугивала, а разъясняла, но каждую ночь женщина просыпалась и прислушивалась, шевелится ли ребеночек, и злоеца фраза, оброненная в консультации, не шла у нее из головы. А он вел себя очень странно: то надолго замирал, то, наоборот, беспокойно толкался и капризничал. Во всем этом ей чудилась его жалоба, и она сходила с ума от волнения и неопределенности своего положения.

– А что будет, если не удастся остановить старение плаценты? – спросила она однажды у заведующей, специально дождавшись в коридоре, когда та возвращалась с обхода.

– Давайте считать, что нам все удастся, – в голосе послышалось недовольство. – Мы проводим курс лечения, ситуация стабилизировалась, и вас скоро выпишут. Но через две недели вы должны будете лечь снова и пройти повторный курс.

Она понимала, почему эта аккуратная, строгая женщина была недовольна: такие вещи надо спрашивать у своего врача, но ему женщина не доверяла. Она и заведующей-то не слишком верила. Она не верила никому. Чем больше судьба сталкивала ее с врачами-гинекологами, тем больше она убеждалась в том, что это были, как правило, неприятные, избалованные, высокомерные люди, привыкшие к дорогим подаркам и очень не любившие, когда их о чем-нибудь пытаются спросить.

Надо было искать других врачей, кто бы мог во всем разобраться и объяснить, что с ней происходит, потому что без понимания этого она не могла жить дальше.

В середине месяца ее выписали из больницы, но смятение, с которым она лежала, только усилилось. Как ни тягостно приходилось ей там, сознавать, что ты находишься под наблюдением, было легче, чем оказаться наедине со своей тревогой и непрекращающимися жалобами младенца. От этого можно было потерять рассудок, и, глядя на молодых, беспечных мамаш, гулявших с колясками в их уютном, защищенном от ветра дворе, она думала: неужели же и

они через все это прошли, так же мучились, изводили себя и неужели когда-нибудь и она, забыв обо всем, будет гулять с малышом на улице? Это казалось ей теперь таким далеким и несбыточным и точно не приближалось с каждым прожитым днем, а замерло и остановилось на месте, как замирает все живое в безветренный летний день. Слишком поздно пришла к ней беременность, и в какой-то момент женщина почувствовала, что начинает уставать и сдаваться и ей уже все равно, когда и чем все закончится. Только бы кончилось это ожидание, эти страхи, сны, эта недаром названная бременем тяжесть.

7

Новая врач понравилась ей сразу: улыбчивая, моложавая, светловолосая, совсем не похожая на гинеколога. Она нашла ее случайно, по объявлению в газете. И с самых первых минут, едва очутилась в уютной, по-домашнему обставленной комнате, почувствовала себя покойно и легко, даже мысль, что вся эта приветливость оплачена хорошими деньгами, ни разу не пришла в голову.

– Ну, пожалуйста мне, – сказала она, сразу перейдя на «ты», – что с тобой случилось?

Она не смотрела на часы, не перебивала, лишь несколько раз задала уточняющие вопросы, и женщина рассказывала ей про свои страхи, сны и предчувствия. Сперва она торопилась и путалась в словах, но потом, поняв, что ее слушают, а не отмахиваются, как в роддоме, успокоилась и испытала невыразимое облегчение от того, что кому-то, пусть даже постороннему человеку, доверяет самое сокровенное, что так долго таила в себе.

– Ты думаешь, с тобой происходит что-то необычное? – спросила врач, когда она остановилась.

– У меня ведь особый случай.

– Нет, это испытывают почти все. То, что ты называла, – твой возраст, первая беременность, по большому счету не имеет никакого значения. Я могу привести десятки примеров, когда абсолютно здоровые молодые женщины не могли доносить или рожали больных детей, а те, кому рожать категорически запрещено, рожали здоровых. И медицина тут ни при чем. Приход человека в мир и уход из него – это две самые большие тайны, узнать которые, а тем более как-то на них повлиять, нам не дано. Лучше всего тебе было бы найти деревенскую бабку-повитуху, неграмотную, необразованную, не испорченную книгами. Она бы тебе и как ходить подсказала, и трав нужных дала, и до родов бы довела, и приняла бы все как следует.

Голос врача был мягок, и женщина не столько вслушивалась в смысл ее слов, сколько в их плавное, успокаивающее звучание.

– Ты говорила, тебе все время кажется, что ему там тесно?

– Да.

– Это гипоксия. Она нынче у каждого первого. С таким воздухом, которым мы дышим, водой, пищей, да и вообще всем, что вокруг делается, странно, что бабы еще рожают. Мужчины портят землю, а мы за все расплачиваемся. И все равно рожаем. Новых мужчин.

– Уж лучше мужчин! – вырвалось у нее.

Врач засмеялась:

– Не бойся, родишь, все у тебя будет хорошо. Знаешь, что я тебе посоветую. Возьми отпуск за свой счет или попроси в консультации больничный до самого декрета и гуляй, гуляй, по пять-шесть часов в день, пей и ешь только натуральное, никаких импортных соков, колбас, шоколада. Ходи только пешком, ешь фрукты, лесные ягоды, пей компоты, понемногу читай что-нибудь спокойное – так, Бог даст, и доходишь.

– И это все? А как же больница?

– В больницу не надо. Поверь мне, ничего серьезного у тебя нет. Все идет хорошо, так хорошо, насколько это вообще возможно. Они просто перестраховываются и на всякий случай

запугали тебя, чтобы снять с себя всю ответственность. Но если ты хочешь помочь ребенку, ты должна избавиться от страха. Больше всего он страдает именно от этого. Пойми, что беременность – это не болезнь, это нормальное и, может быть, даже более нормальное, чем ее отсутствие, состояние женского организма.

И она поверила: то ли в самом деле ее убедила эта улыбчивая женщина, то ли ничего другого ей не оставалось, но она вышла от нее совсем в ином настроении и впервые за много дней улыбнулась.

В Москве ноябрь едва ли не самый отвратный месяц. Но такой солнечной погоды, чистого неба, мягких приглушенных теней и нежности она не видела никогда. С утра женщина уходила гулять и бродила до обеда вдоль канала и водохранилища, замерзших внезапно, так что корабли и баржи, не успевшие перебраться на зимовку, застыли во льду.

Когда она ложилась в больницу, еще была осень, не все облетели листья и зеленела на газонах трава – теперь же все преобразилось и города было не узнать. Дни казались ей то огромными и долгими, то летели: не успеешь оглянуться – снова сумерки; она чувствовала себя день ото дня все лучше и полюбила свою беременность. Младенчик толкался, в его поведении больше не было беспокойства, и он не жаловался на то, что ему тесно. Она гладила его, разговаривала с ним, она ждала его появления на свет, как, казалось ей, никто до нее не ждал. Она молилась на свой живот и больше не стеснялась и не скрывала беременности. Ноябрь кончался, скоро Новый год – первый, действительно новый за много лет однообразной, лишенной содержания жизни, а за ним рукой подать роды. Она позволяла себе то, чего не могла позволить никогда раньше: заходила в «Детский мир», присматривала коляску, кроватку, одежду, еще не решаясь все это купить в согласии со старинным суеверием, но уже прикидывая, где и как все будет стоять в квартире.

Иногда вместе с нею ходил мужчина, они тихо переговаривались, с виду очень заботливые, уже не первой молодости супруги. И за этими заботами ушли в тень недомолвки и обиды, они думали об одном, и женщине было даже жаль, что это таинственное время проходит. Она была счастлива, задумчива, тиха и благодарна.

8

Это было в начале зимы, а все, что последовало затем, слилось в одну кошмарную, стремительно мелькнувшую, как спицы в колесе, полосу, перемоловшую их жизни и навсегда поделившую на две части: то, что было до и что стало после.

За снегопадом ударил мороз, но она все еще продолжала гулять, съедала каждый день по несколько яблок и бананов, которыми была завалена Москва, и крепкие розовощекие продавщицы в грязных халатах весело обвешивали хмурых покупателей. Все шло своим чередом в городе, так быстро забывшем о порохе и крови. Но однажды утром женщина почувствовала себя плохо.

Весь день она пролежала с высокой температурой и сильным отравлением, недоумевая, что с ней случилось. Это не было похоже на простуду, и отравиться она ничем не могла, но к вечеру температура спала, и на завтра ей стало так же хорошо, как прежде. А еще через два дня ее встревожила одна странная, произошедшая раньше срока вещь. За это время она прочла довольно много медицинских книг и знала, что во второй половине беременности такое возможно и не обязательно предшествует родам, но на всякий случай решила съездить к своему врачу.

– Это что-то плохое?

– Нет, – ответила та не сразу, – плохого ничего нет, но в больницу придется лечь.

– Обязательно?

– У тебя сейчас критический срок – тридцать недель. Это надо пережить, и пока лучше побыть в стационаре. Сейчас полежи дома, отдохни, а к вечеру поезжай в больницу. И ничего не бойся. Что бы тебе ни говорили, не бойся, все у тебя будет хорошо.

Снова завороченная уверенным голосом, она вышла из кабинета, успокоившись, и расстроганно подумала, что подарит этой высокой красивой женщине какую-нибудь дорогую, хорошую вещь, потому что та заменила ей мать, подруг и стала чем-то гораздо более важным, чем врач, но на улице ей снова стало страшно.

Что-то было не так или не совсем так, как сказала врач. Чего-то она недоговаривала или скрывала, и женщина остро почувствовала это. У нее не было ни опыта, ни особых знаний, но там, в животе, происходило нечто такое, чего никогда не бывало раньше. Он сделался твердым, опустился вниз, стало трудно идти. Она все еще пыталась совладать с собою и убедить себя, что это ей только кажется, но теперь все происходит наяву.

Дома она сразу прилегла и попыталась заснуть, но сон не шел. В ней что-то менялось, причем менялось еще стремительнее, чем утром, так что ощущения не поспевали за этими изменениями, а мысли за ощущениями. Она взяла книгу, но, не раскрыв, отложила. Неслыханное одиночество навалилось на нее, одиночество, которого она прежде никогда не знала, даже будучи беременной, и она сперва не заплакала, а тихо заскулила. Впервые за все это время ей сделалось страшно не за ребеночка, а за саму себя. Она подумала, что, наверное, не перенесет этих родов и умрет.

Вскоре пришел муж, сел рядом, взял за руку и стал говорить что-то ласковое. А она думала о том, что так говорит он лишь потому, что ее слезы вредны для ребенка, а до нее самой ему нет дела. И все, что он делал последнее время, когда гулял с ней, ходил по магазинам и не жалел денег, он делал не ради нее, и это показалось ей невероятно обидным, точно она сама была девочкой.

Слезы ее душили, она не могла остановиться, и тогда он всерьез встревожился, стал предлагать успокоительное, но она плакала все сильнее, отталкивала его рукой, а потом с ужасом почувствовала, что внизу живота у нее схватило, и резкая боль заставила ее остановиться. Это новое, заявляющее о себе, то, чего она боялась назвать истинным словом, напугало ее так, что ей стало уже не по-женски, не одною только эмоцией, а по-животному, инстинктивно жутко.

Она оторвалась от подушки и поглядела на мужа:

– Я не хочу больше ждать. Поехали в больницу.

– Хорошо, – сказал он растерянно, – может быть, вызовем «скорую»?

– Не надо, я сама.

В полном молчании, не зажигая света, они оделись и вышли из дому. Было холодно, скользко, они шли осторожно, по-прежнему не говоря ни слова, и он снова ничего не понимал, раздраженный, сердитый. Его злили ее капризы, перепады настроения, вспышки ярости и меланхолии, которых за эти месяцы он наглядился достаточно, – все это было ему чуждо, противно и казалось проявлением обыкновенной женской истеричности.

Из своего глухого, крайнего у канала двора они вышли на шумную, слепящую огнями улицу. Мужчина поднял руку, чтобы остановить машину, но женщина покачала головой, и они поехали на трамвае. Только что закончилась смена на машиностроительном заводе, в вагоне было много народа, но никто не уступал ей место, потому что в шубе живот не был заметен. Так они и доехали в этом переполненном вагоне до метро, потом еще одну остановку под землей и пешком побрели к роддому.

Сыпал мелкий колючий снег, здесь на открытом пространстве возле поля было еще ветренее и неуютнее. Остались позади длинные ряды невыносимо ярких коммерческих палаток, мерзнущие у костра кавказцы, крепкие московские бабушки с морковкой и свеклой, разговорчивые хохлушки с творогом, сметаной и колбасой, настойчиво предлагавшие супружеской чете свой дешевый товар. Идти было всего пять минут, но это расстояние в несколько сотен метров

показалось женщине огромным. «Я не дойду, не дойду», – думала она, держась за мужа. Боль в животе притупилась, и теперь она ясно ощущала, что вся тяжесть сосредоточилась внизу. Они завернули за угол длинного, последнего перед шоссе дома, и на другой стороне им открылись сияющие окна роддома. На одном этаже горел синий свет – там было родильное отделение.

Женщина посмотрела на верхний этаж и подумала, что сейчас они наконец дойдут, она разделется, ляжет в палату и уснет до утра. Ей нужно было пережить только этот вечер и эту ночь.

На звонок в приемном отделении вышла молодая смуглая медсестра с большими сережками в ушах, взяла у них обменную карту, паспорт и велела женщине раздеваться. Мужчина остался за дверью и слышал, как жена охнула, когда снимала сапоги, потом стало тихо. Медсестра открыла дверь, отдала ему одежду, и из полумрака вестибюля в освещенном, ослепительно белом кабинете с кафельными стенами он разглядел бледное лицо, показавшееся ему совсем чужим.

– Мне уже идти? – спросил он. – Она больше не выйдет?

– Можете, если хотите, подождать, – сказала сестра с легким восточным акцентом, – сейчас вашу жену осмотрит врач.

Дверь закрылась, и он остался в полной темноте. Затем раздался неприятный, резкий голос. Сначала он не прислушивался, но голос за дверью стал еще резче и жестче:

– Когда у вас начались сукровичные выделения?

– Утром.

– У врача когда последний раз были?

– Сегодня.

– Когда сегодня?

– В первой половине дня.

– Почему вы не пришли сразу?

– Врач сказала, можно подождать до вечера.

– В какой вы наблюдаетесь консультации?

– Это не в консультации.

– Вы должны были немедленно, как только начались выделения, ехать сюда. Не девочка же вы пятнадцатилетняя, в самом-то деле. И потом, вы у нас лежали, в выписке у вас стоит: повторная госпитализация через три недели. А прошло сколько?

– Но врач...

– Что вы заладили: врач, врач... Скажите вашему врачу спасибо. Этой ночью вы родите.

– Как рожу? – вскричала она. – Но ведь ему еще рано!

– Да, рано. Если бы вы пришли хотя бы на несколько часов раньше, можно было бы попытаться что-нибудь сделать, теперь уже поздно. У вас началось раскрытие матки.

Дальше мужчина не слышал. Он медленно, точно ему стало плохо с сердцем или просто дурно, сполз со стула и очутился на полу. В приемном отделении кроме него никого не было, и никто не мог видеть, что с ним происходит. Сколько так продолжалось, он не знал. Голоса за дверью стихли, и он не понимал, где теперь его жена и что ему делать дальше. Понял он только одно: ребенка у него не будет.

9

В дверь снаружи застучали, и в помещение ввалилась целая компания: мужик лет сорока пяти, женщина с невообразимо громадным животом, точно там сидел годовалый ребенок, и еще двое пацанов. Беременная привычным движением руки нащарила выключатель, и все с удивлением поглядели на сидевшего в углу мужчину. Он достал сигарету и, не глядя на них,

вышел на улицу. Снег шел не переставая, перед входом намело уже целый сугроб. Сигарета быстро тлела на ветру, и он даже не успел почувствовать, как она кончилась и обожгла губы.

– Там кто-нибудь есть? – спросили у него, когда он вернулся.

Он пожал плечами.

Беременная встала и, переваливаясь, подошла к двери.

– Можно?

– Минуточку, – ответила сухопарая, в больших круглых очках врач, не отрываясь от телефона. – «Скорая»? Наряд возьмите. Преждевременные роды, гипоксия плода, гипотрофия, фетоплацентарная недостаточность, поперечное предлежание плода, двукратное обвитие пуповины. Срок тридцать – тридцать одна неделя. Первородящая, тридцать пять.

Он физически почувствовал на себе взгляд четырех свидетелей его горя, и этот взгляд показался ему полным облегченного, лицемерного сочувствия, какое всегда возникает у человека при виде чужого несчастья и мысли: «Слава Богу, что не со мной».

В эту минуту и ему на мгновение подумалось, что это не с ним, с ним такого произойти не могло, с ним никогда, ни разу ничего подобного не происходило.

Дверь оставалась приоткрытой, и он слышал разговор врача и жены.

– Вы с мужем? Одна? Это ваше дело. Пожалуйста, одевайтесь и ждите «скорую».

– Почему? – спросила жена еле слышно.

– У нас нет условий. Вы поедете в специализированный роддом.

– Но может быть, можно еще что-нибудь сделать?

– Нельзя, – жестко, даже злобно, как будто ее просили о чем-то неприличном, ответила врач, и мужчина понял: не хотят рисковать, никому не нужны неудачные роды.

Дело не в том, что у них нет условий – у них просто другой уровень, платные роды, коммерция, на фотографиях батюшка в пасхальных ризах, освящающий родильное отделение. А тут слишком трудный подворачивается случай, да к тому же бесплатный, а статистика все равно ведется. У них теперь новое мышление, хочешь, чтоб за твоей женой уход был и врач неотступно, – деньги плати. И его охватила такая ярость, что он едва удержался от того, чтобы не ворваться в эту сияющую комнату, где его жену раздели догола, не позволив оставить даже обручальное кольцо (это в ваших же интересах делается, женщина!), и заорать на злую врачиху, как та смеет в таком тоне разговаривать с роженицей, что она вообще себе позволяет? Он буквально ненавидел эту худую, плоскогрудую, очкастую блондинку, вынесшую приговор не просто его ребенку, но и всей его жизни, он был готов удушить ее за злорадство, за то, что она пользуется своей властью и растерянностью приходящих сюда людей.

Ему нечего было теперь терять, для него все кончилось, кончилось в ту самую минуту, когда она жестко сказала, что ночью его жена родит, выкинет, и даже присутствие посторонних людей, притихших при виде того, что они наблюдали, его не останавливало. Но когда открылась дверь и вышла смуглая медсестра в халате, оттенявшем ее смуглость до кофейного цвета, он не сказал ни слова.

Ярость его схлынула, и ему сделалось печально. «Господи, почему мы так друг друга ненавидим? До какой же степени можно одному человеку ненавидеть другого? И за что?» Он вспомнил ту ночь в октябре, когда ходил по городу и встречал самых разных людей, переполненных этой ненавистью, и подумал, что ненависть заразна, она передается от человека к человеку и поражает, казалось бы, такие далекие от всех распрей места, как родильные дома, где, наоборот, должна аккумулироваться любовь. Но все было пронизано ненавистью и страхом, тем, что греки очень точно называли фобией, и эта фобия была и в его собственной душе.

– Ты слышал?

Он поднял голову и увидел жену, одетую, застывшую, с закушенной губой.

Он кивнул и посмотрел на нее с жалостью.

– Это все? – И опустил голову, не дожидаясь ответа.

Они ждали приезда «скорой» два с лишним часа. Сидели в тесном помещении приемного отделения, куда пришли еще несколько беременных женщин. Они все приходили под вечер, большие, неповоротливые, с родителями, мужьями, торжественные и серьезные, и рядом с ними мужчина и женщина, которая и беременной еще не казалась, выглядели точно посторонние. Но женщине было уже все равно. Она совсем не замечала, что происходит вокруг, ей было не важно, что говорит муж и чем он недоволен. Она сидела на клеенчатой банкетке, прислушивалась к младенцу и мысленно с ним прощалась. В счастливый исход этой ночи она не верила и хотела только, чтобы все как можно скорее закончилось.

– Не суетись ты, сядь, – раздраженно сказала она. – Приедет она, никуда не денется.

Но он ее не слушал, вскакивал, пытался прорваться в приемную и требовал, чтобы медсестра позвонила еще раз, но та отвечала, что от нее ничего не зависит, «скорые» им не подчиняются, а что в стране делается, вы и сами знаете. И все это было бестолково, нелепо, а главное, абсолютно ненужно.

Когда в одиннадцатом часу показалась наконец облепленная снегом машина и угрюмая акушерка сквозь зубы велела им садиться, женщина снова почувствовала схватки. Она уже хорошо понимала, что это такое, – и определенность придала ей сил. Она улыбнулась мужу и сказала, что, возможно, врач ошиблась, потому что она до сих пор ничего не чувствует.

– Просто они любят попугать.

– Да? – поверил он сразу же, и это напомнило ей ее саму в кабинете обманувшей ее золотоволосой врачихи: когда помочь ничем нельзя и изменить ничего невозможно, лучше солгать и утешить.

Машина неторопливо выехала на Волоколамское шоссе, потом стала кружить по каким-то переулкам, дважды пересекла трамвайную линию и остановилась у молчаливого здания, зажатого между жилыми домами, тоже мрачными и темными. Они вышли из «скорой» и прошли в приемное отделение. Здесь все было обставлено в традиционном вкусе: кадка с фикусом, нравоучительные стенды и трогательная скульптура, изображавшая мускулистую мать с младенцем-крепышом, доверчиво приникшим к женской груди.

Снова все повторилось, она разделась, только разрешили оставить цепочку с крестиком, и здесь же очень быстро ее посмотрела врач.

– Сделайте ей укольчик, пусть поспит, и в предродовую, – сказала она коротко, но ни ужаса, ни ненависти в ее глазах женщина не увидела.

Она попросила разрешения выйти в вестибюль и подошла к сидевшему под скульптурой мужчине.

– Ты езжай. Они сказали, что все обойдется и меня положат на сохранение. Езжай спокойно домой и отдыхай. А утром я тебе позвоню.

Часть вторая

1

Это было похоже, наверное, на то, что ощутили бы на большой высоте пассажиры самолета, если бы ледяной, резкий, бедный кислородом воздух ворвался в салон и в этом салоне после привычной мягкости и уюта им предстояло жить всю оставшуюся жизнь.

Младенец уже давно испытывал сильное беспокойство, и раздвинувшаяся было теснота материнской утробы снова сдавливала его со всех сторон. Но теперь уже не женщина выталкивала его из себя, а он сам начал к этому стремиться и медленно перемещаться к выходу. Большая пуповина, обвивавшаяся вокруг тела, ему мешала, он устал и чувствовал, что мать вперые за эти семь неполных месяцев совсем не помогает ему, а, напротив, пытается удержать.

Но что-то неумолимо гнало его оттуда, где еще недавно он был в безопасности, а теперь каждая лишняя минута грозила гибелью. Он торопился наружу, за границу своего темного и тесного мира, в большую, озаренную синим светом комнату.

Там, в этой комнате, вокруг стола, на котором лежала роженица, стояли люди в белых халатах с голубым отливом, с лицами, закрытыми марлевыми повязками, так что видны были только глаза.

– Нет, – кричала женщина, корчась от схваток, – я не хочу, чтобы он родился!

– Тужься, да тужься же ты – он задохнется.

– Нет, сделайте что-нибудь, ему еще рано!

– Поздно уже делать, ты убьешь его.

Но она все равно упорно сопротивлялась и не хотела его отпускать. А он лез – маленькая, мягкая головка, испещренная синими венами, приближалась к отверстию матки. Но безумевшая мать все еще пыталась удержать его в себе.

«У вас желанный ребенок?» – спрашивали ее в больнице. «Желанный, конечно, желанный». Да был ли у кого-нибудь более желанный ребенок? Но теперь он желанным не был. Больно это было или не больно, сколько продолжалось – ничего она не знала, и никакого значения это не имело. Ей казалось, что она умирает, и лучше было бы, если бы она действительно умерла вместе с ним. Она лежала в обрывках каких-то ощущений и мыслей, иногда открывая глаза и тотчас же их закрывая – так пугали ее взгляды врачей. Страшными были эти глаза, глядевшие поверх повязок, страшными были отрывистые и непонятные предложения, которыми они обменивались друг с другом.

Акушерка велела тужиться сильнее и запрещала резко выдыхать, но женщина ее не слышала. Она оставалась в полном неверии и непонимании, что с ней происходит, что это происходит и что это происходит с ней – так рано, когда этому еще нельзя быть. Она кричала не от боли, а от безумного ужаса, но младенец был мудрее и упрямее, чем она, и лучше знал, что ему делать.

Его жизнь в тот момент висела на волоске, еще немного – и он умер бы от удушья: к тому, что происходило, не был готов не только он, но и женщина, которая в другом случае делала бы все необходимое помимо своей воли, а теперь ее тело бездействовало и словно отключилось. Но он успел в последний момент выкарабкаться на волю, и женщина как сквозь вату услышала зовущий ее по имени совсем нестрогий голос:

– Мальчика родила!

Это «мальчика» ее всколыхнуло – она ведь так хотела мальчика и неужели именно его ей придется потерять? То, что он может выжить, она не предполагала – она просто не знала, что выживают такие дети. Он был в руках у врача – она его еще не видела, в следующий момент ему перерезали пуповину, и он закричал. Его крик был очень слабым, а потом он вдруг оборвался, младенец словно захлебнулся, и тогда все засуетились, забегали, и она услышала умоляющий голос акушерки:

– Кричи, маленький, ну кричи!

Но он не кричал. После того, как в его раскрывшийся ротик с грохотом ворвался колючий, обжигающий воздух и наполнил легкие, у него сразу же перехватило дыхание, он обмяк, и его тельце посинело.

Это продолжалось чуть больше минуты, но женщина плохо понимала, что происходит. Где-то готовили кислородный аппарат, а врач продолжала, как заклинание, повторять:

– Кричи же, малыш, кричи!

По лицу у нее под марлевой повязкой тек пот, своими маленькими сильными руками она пыталась буквально оживить замирающее тело, и он снова вынырнул из небытия, вздохнул и крикнул.

Его поднесли к роженице:

– Смотри!

Ей показалось, что это было произнесено с осуждением и точно подразумевало: смотри, что случилось, это ты виновата во всем, и она боялась повернуть голову и посмотреть в ту сторону.

Для нее он все еще оставался в животе. Она не хотела, не могла смириться с тем, что дитя, занимавшее все ее существо, покинуло ее раньше срока. А ребеночек, крохотный, шупленький, с поросшей белым пушком спинкой и плечиками, обильно смазанный первородной смазкой, с мягкими ушами, синими ручками и ножками, безвольно висел у врача на руках, но дышал через силу, с болью вдыхая свистящий резкий воздух, наполнявший его кровь, еще не готовую к тому, чтобы разносить кислород.

Его спинка была покрыта красноватой сыпью, и врач быстро спросила:

– Чем ты болела? У него какая-то инфекция. Чем?

– Я не знаю. – Язык еле ворочался, и она ничего не помнила. – Что с ним? Он будет жить?

– Не знаю. Состояние очень тяжелое.

2

Мужчина спал одетый на неразобранной кровати и тяжело дышал во сне, когда раздался телефонный звонок. Он встрепенулся и бросился к телефону, но услышал только длинные гудки. Некоторое время он держал трубку и силился понять, что происходит, а потом взглянул на светившиеся наручные часы и похолодел. Накануне, вернувшись домой, он выпил почти целиком бутылку коньяка и теперь мучился похмельем. Он подошел к окну и отодвинул занавеску. Там была темень, отвратительная ветренная темень, но зажигать свет он не стал. В темноте было покойнее.

Только бы пережить эту ночь, только бы дожить до утра. Если ничего не случится, то тогда она доносит, и все будет хорошо. Не нужно ему было уезжать домой, не нужно было так много пить – надо было остаться там и ждать. У него сильно болела голова, и было очень нехорошо. Боже, Боже, кто бы ему сказал, где она сейчас и что с ней? Он вспомнил про телефонный звонок, его разбудивший, – неужели звонили оттуда? Справочная откроется в девять – значит, надо ждать. Еще только половина четвертого, впереди целая ночь. Если звонили оттуда, то что-то случилось, что-то очень плохое – с ребенком или с ней. Скорее с ней. Из-за ребенка звонить бы не стали. Он со страхом глядел на молчавший телефон: после вчерашнего мутило так, что хотелось перестать быть. Неужели все это действительно было – кошмарный вечер, переполненный трамвай, дорога к роддому, страшный диагноз врача, ожидание «скорой», метель...

Его спокойная, невозмутимая жена, немного замкнутая, отчужденная женщина, которую никогда он не мог представить растерянной, униженной и слабой, в полной неизвестности лежала в какой-то больнице, и он почувствовал что-то вроде вины перед той, которую сам считал виноватой и в своей неудавшейся жизни, и в том, что у них не было детей, и в том, что теперь все шло не слава Богу. Но если с ней что-то случилось или случится, его жизнь будет добыта окончательно.

Он всегда думал, что она не любит его и никогда не любила, а вышла замуж потому, что в молодости он был не только честолюбив, но и упрям и привык добиваться того, чего хотел. Он желал эту женщину, казавшуюся ему надменной и горделивой, он добился ее, но счастья ни ему, ни ей эта любовь не принесла. Он был почти убежден в том, что у них нет ребенка, потому что она не хочет иметь от него детей. Все эти двенадцать лет он жил с этой мыслью, причинявшей ему невыносимое страдание, он глухо ненавидел ее, он уходил из своего постылого, холодного дома в лес, искал утешения в одиночестве, лгал самому себе, что ему и так хорошо. Он ничего не смог добиться в жизни, потому что не чувствовал ее поддержки, – его

женитьба на ней была величайшей ошибкой и причиной всех его бед вплоть до нынешней ночи, но он точно знал, что если бы эта женщина от него ушла, ни одна другая ее бы не заменила.

В комнате тикали часы, он не мог их видеть, а только слышал, как они отсчитывают время. Он сидел на смятой постели и ждал, он был готов ждать столько, сколько потребуется, он любил ее в эту минуту, любил за то, что она зачала от него ребенка, носила, как говорили в старину, под сердцем, и за это он был готов ей все простить. Простить, даже если с ребенком ничего не получится, за одну только попытку простить.

Еще три с лишним часа. Можно было бы попробовать уснуть – все равно от того, что теперь он не спит, ничего не изменится. Вчера вечером, когда он сидел на кухне и пил коньяк, ему казалось, все самое страшное позади – все осталось в приемном отделении первого роддома, но теперь он понимал, что жена обманула его. Он оставил ее одну, как всегда оставляют мужчины женщин, когда те идут рожать (присутствие мужа при родах не в счет), но пить не следовало, нужно было остаться там – так ему самому было бы легче. Какая же долгая, томительная ночь и как это трудно – ждать, когда впереди неизвестность.

Ему вдруг вспомнилась другая ночь – в лесной избушке: печка, грубый стол, темная вода и сырой воздух. Все это казалось теперь таким далеким и точно ему не принадлежавшим, уворованным у кого-то, и его прежние мысли, что у него родится сын и этого сына он однажды ответит на лесное озеро, обернулись жестокой насмешкой.

За окном как будто начало чуть-чуть светлеть, обозначились очертания предметов в комнате, и в приоткрытую дверь бесшумно вошла собака. Она положила большую остромордую голову с печальными глазами ему на колени и заскулила. Эту собаку он купил три года назад. Он считал ее своей, но жена тоже к ней привязалась, и в последнее время собака была единственным, что их объединяло.

Собака беспокойно вертела головой и звала его к двери – она хотела гулять, но мужчина сидел неподвижно в кресле и курил. Теперь, когда стали видны большие настенные часы и звук времени совпал с его изображением, он не сводил глаз с минутной стрелки, которая, если пристально взглядеться, перемещалась по краю циферблата. Ровно в восемь он первый раз набрал номер справочной, на всякий случай, может быть, кто-нибудь пришел раньше, и все то время, пока в трубке раздавались длинные тонкие гудки, у него бешено колотилось сердце и болел живот. Он и хотел и боялся того, что эти гудки оборвутся тишиной, потом шорохом и чей-то далекий, равнодушный голос либо успокоит его и скажет, что ничего не было, либо... Но об этом он запрещал себе думать.

Снова заскулила и заскреблась в дверь собака, но ее хозяин сидел замерев, как восковая фигура, и отрывался от часов только для того, чтобы набрать никак не запоминавшиеся цифры. Один раз он ошибся, и трубку сняла молодая женщина, иногда номер был занят, и он думал, что, значит, кто-то пришел, но в следующий раз снова слышались бесконечные длинные гудки, он считал до десяти и клал трубку, уступая линию кому-то еще, неведомому, кто в этот ранний час тоже названивал в роддом.

Никто не пришел и в девять, и в четверть десятого, хотя теперь дозвониться стало сложно, и только без двадцати минут десять, когда было уже совсем светло и за замерзшим окошком над каналом появилось редкое декабрьское солнце, обещая морозный и чистый день, дребезжащий старушечий голос переспросил фамилию жены и произнес:

– Родила мальчика в два часа тридцать пять минут. Вес – килограмм четыреста граммов, рост тридцать девять сантиметров. Состояние матери удовлетворительное. О детях справок не даем.

– Подождите, подождите, не вешайте трубку! – закричал он, и от его крика шарахнулась и испуганно залаяла собака. – Он жив?

– Я же сказала вам, молодой человек, о детях справок не даем.

3

В кувезах – небольших стеклянных ящиках, куда подавали кислород и поддерживали определенную температуру и влажность, чтобы обеспечить условия, максимально приближенные к материнской утробе, лежали дети. Они были совсем голенькие, к их головкам и грудкам вели провода, показывавшие работу сердца и легких, рядом стояли капельницы. В просторной чистой комнате, где находилась реанимация, все время дежурили врач и медсестра.

Врач был мужчина большого роста, сорока с лишним лет, в очках, с коротко постриженными волосами и широким полным лицом. Медсестра, совсем молоденькая, еще не имевшая собственных детей, работала в реанимации недавно, ее чувствительность покуда не притупилась, и она никак не могла привыкнуть к тому, что голые тельца в кувезах иногда замирали и из этой напичканной приборами комнаты уносили крохотные трупы тех, кому еще так рано было родиться, но врачи были бессильны.

Несмотря на то что в последние годы роддом принимал гораздо меньше рожениц, количество недоношенных и ослабленных детей не уменьшалось. Они поступали сюда волнами – иногда по нескольку в одну ночь, а иногда целыми днями не было никого. Последний большой наплыв пришелся на те октябрьские дни, когда утомленные повседневной жизнью люди с удовольствием глядели на дурно поставленный спектакль гражданской войны, но многие из беременных женщин в разных концах большого города родили тогда прежде времени, и у медсестры и у врача на всю жизнь осталось ощущение ужаса при мысли, что толпа ворвется в здание или же просто отключат электричество и дети в кувезах умрут все до единого.

Этих детишек доктор обожал. Они были страшны на вид, с вялой, дряблой кожей, собирающейся в складки, с тоненькими ручками и ножками, непропорционально большими головами, мягкими ушами и белым пушком на плечиках и на щеках. В своих жарких кувезах они лежали вялые и спали, иногда хаотично вздрагивали и перебирали ножками и ручками, а потом снова замирали. Раз в три часа их кормили донорским молоком, и если сами они сосать не могли, то вводили молочко шприцем через нос. Чтобы выходить каждого из них, требовались невероятные усилия, искусность и любовь, но, когда это удавалось сделать, доктор был счастлив.

Мальчик, поступивший ночью, был не самым тяжелым. Однако дыхание у него оставалось неровным, одно легкое не раскрылось, развивалась пневмопатия, во время родов он хлебнул околоплодных вод, и ручаться за его жизнь было нельзя.

Младенец спал. После того кошмара, который он испытал нынешней ночью, после асфиксии, когда он едва не исчез в небытии, он отдыхал и качался над пропастью. У него было слишком мало сил, чтобы приспособиться к этому новому миру, который, как ни старались великаны люди, был слишком далек и непохож на им покинутый. Но в его крохотном тельце все органы, все клетки, все нервы – все было нацелено на жизнь и на выживание, все боролось с тем, что он ощущал, – колючим воздухом, светом, шумом. Он хотел выжить, потому что так был задуман природой, и, несколько минут постояв над ним перед тем, как уйти с дежурства, толстый доктор осторожно пощупал увеличенную печень и селезенку, покачал головой и сказал стоявшей рядом медсестре:

– На осмотр реагирует. – И глаза его чуть-чуть повеселели.

Полчаса спустя, заполнив журнал, он спустился в холл, и в справочной ему передали, что его хотел бы увидеть отец родившегося ночью ребенка. Доктор задумался: ничего определенного он сказать пока не мог. Если бы прошли сутки, можно было бы утверждать, что шанс у младенца есть, ибо самое трудное в жизни каждого человека – это первая минута, первый час, первый день, первый месяц и первый год. Этот мальчик прожил первую минуту и первый час, но никакой уверенности в том, что он проживет первые сутки, не было. Хотя не было уверен-

ности и в обратном. Все было очень зыбко: на одной чаше весов он, беспомощный, обессиленный, пораженный каким-то вирусом, на другой – так неласково встретивший его мир, и какая чаша перетянет, доктор не знал.

Он не был человеком религиозным, но матерям в таких случаях говорил одно: если верующая, молись, если неверующая, тоже молись. А самое главное, не думай о нем плохо. Он еще слишком связан с тобою, с твоим организмом, с твоей психикой, мозгом, и больше всего, больше, чем лекарства, капельница и кислород, ему нужна твоя любовь, твои теплые мысли. Если этой любви будет много, ты его спасешь. Он говорил так, впрочем, не всем: бывали случаи, когда говорить подобное было бы слишком жестоко и опрочетливо, – но этой женщине сказал. И она, кажется, все поняла. Когда утром он вошел в палату, в ее глазах было отчаяние и горе, когда уходил – надежда. Хотя он давал не надежду, он не любил это слишком расплывчатое и даже вредное понятие, – он давал работу. Лежи и люби его. Вот твое дело сейчас.

С мужчинами же было труднее. Любить младенца они не могли. То чувство, которое испытывали даже самые нежные и заботливые впоследствии отцы, любовью назвать было нельзя. Это могла быть гордость, самолюбие, тщеславие, самодовольство, но только не любовь. Обычно ничего страшного в этом не было, но когда рождались недоношенные дети, порой случалось, мужья требовали, чтобы матери отказывались от них. Детей, на которых Бог ли, природа ли являли свою милость и чудо, даруя им жизнь, бросали только потому, что родители боялись их выхаживать или у них оставались дефекты, хотя доктор мог бы привести сотню примеров, как из младенцев, весивших при рождении меньше буханки хлеба, вырастали умницы и крепыши. Он вообще считал, что в природе ничего не бывает просто так, и недоношенные дети тоже нужны, они отмечены особой печатью, у них раньше начинает работать мозг, они впечатлительнее, восприимчивее, и если преодолеть самый трудный первый год, то родители будут вознаграждены сполна.

Но в последние годы все чаще и чаще несчастные младенцы попадали в Дом ребенка, где, лишенные внимания и любви, которые им были необходимы вдвойне, вырастали калеками. Таких родителей мягкий, незлобивый доктор, похожий на Пьера Безухова, люто ненавидел и, будь это в его власти, в принудительном порядке подвергал бы стерилизации, чтобы не было у них никогда потомства. И пока был малейший шанс уговорить их от детей не отказываться, доктор не отступал.

Поджидавший его в вестибюле мужчина показался ему сперва довольно молодым и как будто посторонним.

– Вы кто будете? – спросил доктор как можно доброжелательнее.

– Муж, – ответил мужчина, сглотнув.

– Значит, папа, – поправил доктор еще более благожелательно, и мужчина вздрогнул. –

А живете вы где?

Он спросил это не из голого любопытства, а чтобы удостовериться в том, что сидевший перед ним человек был действительно тем, за кого себя выдавал. Бывали случаи, когда на этом месте оказывались не мужья, но папы или, наоборот, не папы, но мужья, и потом бывало много путаницы.

Мужчина посмотрел на него недоуменно-злым взглядом и ответил. Доктор мельком поглядел в карту:

– А мы с вами соседи. Первый у вас ребеночек?

– Да.

– Ну что ж...

Мужчине казалось, что он сейчас сойдет с ума – невыносимо было представить, что жизнь его сына была в руках этого толстенького, любопытствующего человека с круглым бабьим лицом, пытавшегося своими дешевыми приемами его успокоить.

– У вас родился сын. Роды преждевременные, ребенок недоношенный, можно даже сказать, глубоконедоношенный. Он находится сейчас в реанимации, и должен прямо вам сказать, что положение тяжелое.

«Это все», – промелькнуло в голове у мужчины, и он был готов к тому, что доктор его сейчас добьет, но тот деловито продолжил:

– В результате принятых мер нам удалось стабилизировать его состояние, мы контролируем ситуацию, и можно даже сказать, что наблюдается положительная динамика. Да, динамика положительная, хотя положение тяжелое.

Он точно кидал на весы два этих утверждения, и мужчине мучительно хотелось и одновременно страшно было спросить, чего же больше, положительной динамики или тяжелого положения, и что ждет ребенка.

Возникла небольшая пауза: доктор не знал, что сказать, а задавать вопросы мужчина избегал. Нужно было вставать и уходить, но больше всего ему не хотелось сейчас оставаться наедине с неизвестностью.

– Может быть, нужны какие-нибудь лекарства?

Вопрос был неуместный, но доктор обрадовался возможности переменить тему.

– Нет-нет, у нас все есть. Вы знаете, вам, в общем-то, повезло: вы попали в более или менее цивилизованный роддом. Мы занимаем второе место в Москве, – добавил он с гордостью, – первое – республиканский центр, но у них такое финансирование, что нам и не снилось. А мы крутимся сами, и хотя аппаратура у нас западная, но методика вся наша, превосходящая западную. Жаль только, что таких роддомов единицы. И это при том, что у нас такая детская смертность и высокий процент осложненных родов.

«Боже мой, зачем он мне все это говорит, – подумал мужчина, – какая мне разница, какая у нас смертность – сто человек на тысячу или один, если мой ребенок может оказаться этим, одним-единственным?»

– В Москве-то еще ничего, а если проехать по России, я уж не говорю про Среднюю Азию.

– Да-да, – отозвался мужчина рассеянно, – скажите, а вы от меня ничего не скрываете?

– Вы успокойтесь, папа, ваш малыш получает все необходимое, он находится под постоянным наблюдением врача и пробудет в реанимации столько, сколько потребуется. Нам удавалось спасать самых тяжелых детей, и для вашего мы сделаем все, что сможем. Если бы ваш сын был безнадежен, я бы разговаривал с вами иначе, – добавил он, поднимаясь. – Самое главное, поддержите свою жену.

4

Послеродовое отделение, в котором лежала женщина, находилось на третьем этаже, и в отличие от предыдущего роддома здесь можно было переговариваться с мужем из окна. Но никакая сила не заставила бы ее сейчас посмотреть в его глаза. Она твердо решила, что если выйдет отсюда одна, то больше жить вместе с мужем не станет. Но когда наутро увидела его из окна, растерянного, озирающегося и ищущего ее, она дрогнула.

Он выглядел таким несчастным среди других мужичков, зычными голосами что-то орущих своим женам, сам на себя не похожий, маленький, пришибленный, и она подумала, что, возможно, ему даже хуже, чем ей, потому что этот человек, всегда живший весело и беззаботно, не знавший, что такое страдание, еще меньше готов к случившемуся, чем она. Он стоял, курил и уже не пытался найти ее, а просто ждал, что она увидит его, и женщина с трудом удерживалась от того, чтобы не открыть окно.

Она не допускала мысли, что он разделит ее жизнь, она приучила себя к тому, что он ее бросит, заявит – это твои проблемы, сама все расхлебывай, и укатит в лес (доктор сказал, трудно будет первый месяц, полгода, год, но с каждым днем легче, как солнышко прибывает

понемножку в день, так и ей с каждым днем будет легче), – но теперь, в эту минуту, она была благодарна ему за то, что он стоит там и не уходит. Хотя бы пока не бросает ее.

Ей самой стоять было очень тяжело. Она чувствовала слабость и не могла отделаться от того кошмара, который испытала в те предрассветные часы, когда ее отвезли в послеродовую палату и она, вздрагивая от каждого шага в коридоре, ждала, что сейчас придут и скажут: жаль, но так вышло... Мы не смогли ничего сделать... И это будет все, финал, конец ее жизни – этого она уже не переживет. Те несколько часов она лежала и молилась. Это была даже не молитва, а бессвязный поток повторяющихся слов и слез с мольбою сохранить младенца.

Так остро сознававшая всю беременность свое одиночество, она думала о том, как теперь одинок ее сын. Он лежал в двух шагах от нее в комнате со страшным названием «реанимация», он был впервые за свою жизнь с ней разлучен, и ей казалось, что в эту ночь она его предала, и она ненавидела себя, свое тело, не смогшее выполнить самое главное, что было на него возложено, и ту золотоволосую женщину, которая словно специально задержала ее до вечера. Если бы она отправила ее сразу же, если бы удалось что-то сделать и остановить роды...

Мальчик, ее маленький мальчик, вместо того чтобы жить в ней, набирать вес и получать все необходимое, был вышвырнут в мир и лежал теперь брошенный ею с первых своих минут.

«Мать Божья, – жалобно говорила она, – Ты приходи к нему, помоги ему, ему сейчас нельзя одному. Он никогда не был один, он не знает, что это такое. Он безгрешнее и чище любого живущего, пусть он увидит Тебя и перестанет бояться. Ему сейчас страшно, но если Ты к нему придешь, если Ты дотронешься до него, то он успокоится. Ты одна сейчас можешь его спасти и не дать ему исчезнуть. Накажи меня чем хочешь, но только приходи».

Время от времени женщина впадала в забытие, потом снова просыпалась и продолжала молиться, и иногда в голову ей западала жуткая мысль, что, быть может, она молится напрасно, потому что его уже нет. Она со страхом эту мысль гнала, она не разрешала себе так думать, а в ушах звучала подлая фраза, казавшаяся теперь особенно зловещей: да он у вас умрет, вы не почувствуете. Боже, Боже, кто бы ей сказал, что в ее жизни выпадет такая ночь и что от всего этого она не сойдет с ума. Она часто читала в последние недели Евангелие и хорошо запомнила одно место, где Господь говорил ученикам – эти слова всегда утешали ее и точно опровергали то другое, пугавшее ее: *«Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что человек родился в мир»*. И она верила, когда лежала в той больнице, когда ей было очень худо, когда просыпалась ночью от жутких снов, – она верила, что это только та скорбь, через которую предстоит ей пройти, а потом откроется радость. Но получилось все наоборот: скорбь лишь усилилась, и это было неправильно, несправедливо, это противоречило тому, что сказал Господь. Это значило, что ничто уже их не спасет, ни младенца, ни ее, – он родился тогда, когда рождаться было уже нельзя, не только потому, что она была слишком стара, но и потому, что мир вокруг лежал во зле. И в безмерном отчаянии она подумала, что не надо ей было креститься, не надо было ничего этого знать, она сама все напортила: грозному, злому Богу неуютны ее молитвы и слезы – Он жаждет для нее только наказания, Он отнимет ее дитя, которое не смогла отнять судьба, и она заплакала горькими, бессильными слезами.

Это было похоже на наваждение, смесь яви и сна, она точно лишилась опоры и висела над бездной отчаяния и страха, куда безвозвратно уходит человеческая душа, и над такой же бездной висел ее младенец. И она подумала, что если он упадет, то она уйдет туда вместе с ним. У нее не было сил больше терпеть и ждать – кругом было темно и тихо, она не знала, жив он или нет, сердце ее молчало, она снова попробовала молиться, но не смогла: кто-то или что-то мешали ей это сделать.

Маятник страдания, приблизивший ее к Богу несколькими часами раньше, отшвырнул теперь так далеко от Него, как она не была даже в той жизни, до своего крещения. Она пришла к Нему, чтобы уйти от судьбы и стать матерью, она переступила через себя, свой страх и стыд,

когда беременная раздевалась в бассейнчике с мутной водой и на нее смотрели как на ненормальную. Она вытерпела все, чтобы заручиться Его поддержкой, но Он оставил ее в самую тяжкую минуту ее жизни. Она не чувствовала ничего, кроме одиночества и бездны, – это были ужасные часы, ей казалось, что она сейчас сойдет с ума, завоет и бросится на того, кто войдет и скажет непоправимое про младенчика, как бросается медведица на безумцев, вздумавших играть с ее детьми.

Но потом наступило утро, и в палату вошел большой круглый человек в очках. Он быстро сел на кровать, взял ее за руку и сказал, что мальчик жив, он цепляется за жизнь, ему очень худо и очень трудно, но он цепляется и она должна обязательно ему помочь. Она должна думать только хорошее, не отчаиваться, и только нежностью и любовью она его спасет. Женщина заплакала и часто-часто закивала, но то, что доктор принял за надежду в ее глазах, было не надеждой, а благодарностью Той, Которая ее услышала, пришла к ее сыну и дала ему руку. Потому что если бы Она не сделала этого, то он бы не смог уцепиться – женщина сама только что висела над этой бездной и знала, что без этой руки спастись невозможно. И это не она ему, а он, маленький, крохотный и слабый, помогал ей преодолевать отчаяние и страх. Случилось то, чего не должно было случиться, – чудо, потому что у нее не могло быть ребенка, все происходило вопреки природе и вопреки судьбе: и то, что она зачала, и то, что не было выкидыша на ранних сроках, и то, что ей все время мешали, но не смогли помешать, и то, что все дается так трудно. Все это потому, что глупая и злая судьба не хотела отпускать свою жертву и насылала на нее бесплодие, старение плаценты, инфекцию, злобную врачиху в консультации, нелюбимого мужа...

Здесь она споткнулась и посмотрела в окно. Муж все еще стоял. Совсем понурый, наверное, думал, что раз она не хочет с ним говорить, значит, все очень плохо. Она хотела распахнуть окно и позвать его, но услышала за спиной окрик:

– Женщина, вы с ума сошли? Ну-ка марш в постель!

В дверях стояла заведующая отделением – седая, желтолицая, насквозь прокуренная.

– Да что тебе муж? – проворчала она. – Себя побереги. Еще набегаешься.

– Вы думаете, он... – задохнулась она от радости.

– Загадывать рано, но в любом случае слава Богу, что он родился сейчас. Медицина не слишком это признает, но в народе-то есть поверье, что семимесячных легче выхаживать. А особенно мальчиков. – Она вздохнула и присела на кровать.

– Я хочу, чтобы он жил, – сказала женщина упрямо.

– Дай Бог.

«Тем более, что больше рожать тебе не придется», – подумала она, но вслух этого не произнесла.

5

Утренняя служба закончилась, но храм в стареньком арбатском переулке был открыт. Заходили люди, покупали свечи, ставили их перед иконами, листали брошюры и книги, разложенные на лотке, на скамеечке сидели старухи в валенках и шерстяных платках. Мужчина сначала растерялся. Потом взгляд его остановился на тоненькой, необыкновенно красивой девушке, стоявшей за свечным ящиком.

– Пожалуйста, – улыбнулась она, когда он, путаясь в словах, изложил свою просьбу. – Как зовут вашего ребеночка?

– У него еще нет имени.

– Так он у вас некрещеный?

– Он только родился.

– Сожалею, – ответила девушка печально, – помочь вам Церковь не может. Она молится о крещеных.

– Но ему нужно сейчас, понимаете?

– Это невозможно. Сперва вы должны его окрестить.

Он хотел ответить что-то резкое, сказать, что ребенок болен, при смерти и не дай Бог ей такое испытать, но вдруг заметил, что лицо у нее никакое не нестеровское, как ему показалось вначале, а вышколенной, холодной служащей.

Он быстро вышел на улицу, но куда теперь идти и что делать – не знал. Домой не хотелось, никого близкого у него не было, и весь этот студеный, ветреный день он бродил по улицам. Повсюду шла предновогодняя торговля украшениями, безвкусными импортными конфетами, парфюмерией, спиртными напитками, – все это было дико, ново для него, потому что он не был в центре несколько лет, и эти некогда любимые им бульвары и площади вызывали теперь отвращение.

К вечеру похмелье прошло окончательно, в маленькой булочной за бульварным кольцом он купил батон теплого хлеба и большими кусками, давясь, съел его почти целиком, а потом ноги снова понесли его к роддому.

Здание показалось ему еще более громадным, чем днем. Оно уходило ввысь, в беззвездное, слепое московское небо, и трудно было представить, что где-то в его глубине находились два самых близких ему человека. Он обошел несколько раз вокруг, ноги замерзли, от выкуренных сигарет во рту стало гадко, но уйти отсюда он не мог. Прошло ровно двадцать четыре часа с тех пор, как у закрытой двери, в другом месте, сказали, что его жена родит, и она родила. Теперь он снова ощутил острый стыд, оттого что в ту самую минуту, когда она лежала на столе и рожала, он спал пьяный, а не стоял под этими окнами, и в тяжелом, похмельном сне, сам того не ведая, превратился из обыкновенного и никому, кроме своей матери, не нужного, пустого и никчемного человека в отца. Но даже ребенок у него получился ущербным, и все это было не случайно, неспроста, все было заслужено им самим.

Ты сам во всем виноват, подумал он в порыве отчаяния, и если покопаться в самом себе, то все станет более или менее понятным. Ты был всегда завистлив, и даже не просто завистлив, хуже – злораден. Чужие горести тебя веселили, ты радовался, когда кому-то из твоих друзей было плохо, и чем ближе был тебе этот человек, тем больше ты наслаждался, хоть и пытался лицемерно изобразить сочувствие. Чужие неудачи были для тебя слаще собственных успехов, ты ими упивался – *поэтому* из тебя ничего не вышло и ты получил лишь то, что желал другим. Ты всем завидовал: одному, что он умен и талантлив, в то время как ты был просто способен и неглуп, другому, что он богат, третьему, что у него много женщин. Ты всегда находил повод для зависти и для разжигания зла в собственной душе. О, зависть, зависть, как она отвратительна, она есть смертный грех, она порождает убийство, она есть неблагодарность Богу за то, что Он дает, а потому у завистливого отнимется последнее и за твою зависть расплачиваться будет твой сын.

Мужчина вспомнил свой разговор с доктором и подумал о том, что если ребенок и выживет, то скорее всего останется инвалидом, умственно или физически отсталым. Жизнь кончится, кончится в тридцать шесть лет, толком и не успев начаться, бросить семью он не сможет и все оставшиеся годы будет привязан к больницам, врачам, лекарствам, специальным школам и интернатам, будет жить в вечных метаниях от отчаяния к проблескам надежды на какое-то чудо, целителя, но цена всему этому грош, и та радость жизни, те удовольствия, которые он так ценил, его независимость и покой – все у него отнимется и никогда не придет. Так, может быть, лучше, обожгла его лукавая мысль, если дитя не будет мучить других и мучиться само, закроет глазки и навсегда уснет? А они его забудут, разведутся и забудут, и у каждого начнется своя жизнь, в которой и он и она будут удачливее? Боже, Боже, какая же мерзость

лезет в голову! Неужели человек, так хладнокровно желающий смерти собственному сыну, и есть он? И именно так начинается, а может быть, и заканчивается его отцовство?

Им овладело какое-то враждебное чувство к жене. Он подумал, что его женитьба на ней была не просто ошибкой, а величайшим несчастьем, исковеркавшим его жизнь. Надо было давно от нее уйти и найти кого угодно, кто мог бы выносить и родить здоровое дитя. Он никогда не думал, что будет до такой степени хотеть ребенка, – но он хотел здорового, полноценного человека, и всю его жалость к жене, все, что он испытывал прошлой ночью, смыло ненавистью. В каком-то умопомрачении, ничего не замечая вокруг, он шел по улице, размахивая руками, что-то бормотал, выкрикивал отдельные бессвязные слова, и в один бесконечный ряд сливались перед его глазами глуповатое, круглое лицо детского доктора, хорошенькой девушки из церкви, старухи в приемном отделении, всех, кто пытался его утешить, но он отторгал теперь любое сочувствие – ему хотелось, чтобы из темноты кто-нибудь на него набросился, хотелось грязно ругаться, драться, злобствовать и проклинать.

«Боже, Боже, что это со мной? За что мне такое? Надо остановиться и взять себя в руки. Нельзя так распускать себя. Где я?» Он огляделся и увидел, что вокруг давно уже нет ни жилых домов, ни людей – только кое-где горели скупые фонари и из-за высоких заборов лаяли собаки. Его окружали склады, ангары, строительная площадка, башенные краны и занесенные снегом, с выбитыми стеклами машины. Потом послышался шум, и он увидел электричку, слепящей фарой прорезавшую темноту, и летевшие на свет снежинки. Он пошел через рытвины вперед, спотыкаясь и падая, не видя ничего под ногами, и даже на какое-то время забыл о жене и ребенке, потом вышел на полотно железной дороги и побрел по шпалам. Он не знал, какая это дорога и куда она ведет. По-прежнему вокруг не было ничего, кроме заборов с одной стороны и леса с другой, прошел встречный поезд, окатив его грохотом и запахом электричества. Наконец показалась впереди платформа, и он понял, что это была та самая железнодорожная ветка, возле которой они жили.

Когда он подходил к дому, то увидел в окнах свет. «Ну вот и все, ребенка больше нет, а ее привезли домой». И даже не разобрал, что в первый момент ощутил: ужас или облегчение. Только мелькнуло в голове: таких детей неужели тоже хоронят в гробиках?

Из открывшейся двери на него смотрели два испуганных женских лица: его матери и матери жены.

– Это вы звонили вчера ночью? – спросил он хмуро.

– Я звонила, – сказала теща, – я очень волновалась – где...

– Она родила.

– Как родила? Кого? – воскликнула теща. – И сколько весит?

Он ответил.

– У меня-то были одна три с половиной, а другой четыре двести, – произнесла она с превосходством, заключавшим в себе всю прихотливость ее взаимоотношений с дочерью.

Мужчина с испугом посмотрел на мать: неужели и та не удержится и скажет что-нибудь подобное, но мать молчала, и ее обычно замкнутое лицо (она была этой замкнутостью похожа на жену или, вернее, жена была на нее похожа) показалось ему необыкновенно красивым и нежным. Ему захотелось сказать ей о своей душевной муке, ей единственной его любимшей и принимавшей таким, какой есть, но его стесняло присутствие третьего человека, и он промолчал. Теща, истолковав тишину по-своему, стала что-то говорить, и мужчина ушел гулять с собакой.

6

Тревога усилилась в душе женщины, едва настали сумерки. Весь день она провела в возбуждении после того, как приходил доктор, – она ждала, что придет кто-нибудь еще, но в коридорах было тихо, только в пятом часу принесли полдник.

Потом она уснула, а проснулась оттого, что все было непривычно, и она не сразу поняла, где находится и что с ней. А когда вспомнила все, опять горько заплакала. Не только душа ее, но и тело не могли приспособиться к тому, что живот, занимавший все ее мысли, стал пустым – кончилась беременность и с нею кончилась тайна. Она по-прежнему осторожно поворачивалась и двигалась, машинально тянулись к животу руки – он был все еще большим, матка сокращалась не быстро, но она была уже совсем другим человеком, чем сутки тому назад. Из груди стало сочиться молозиво – несмотря на преждевременность родов, организм вырабатывал молоко. И ей нестерпимо захотелось увидеть младенца, взять его на руки и прижать к себе. Женщина накинула халат и вышла в коридор. Налево был небольшой холл с телевизором и креслами, где сидели и беременные, и уже родившие, а иные и потерявшие своих детей, направо – выход из отделения.

– Куда вы? – остановила ее медсестра. – В реанимацию вас не пустят.

Она пошла по коридору назад и остановилась у окна. Напротив, в соседнем крыле здания, виднелась комната, освещенная синим светом. Сперва она подумала, что это родильное отделение, но, приглядевшись внимательнее, поняла, что это и есть реанимация. Там был ее ребенок, и чтобы пройти к нему, надо было завернуть за угол и сделать двадцать шагов. В комнате мелькали фигуры людей, она изо всех сил напрягала глаза, пытаясь разглядеть, что они делают, но неожиданно свет погас.

Женщине стало страшно. Она ждала, что свет снова зажжется, но окна оставались темными, и она быстро пошла по коридору.

– Мамочка, – сказала медсестра, – вы успокойтесь. И идите к себе в палату. Я попрошу врача, если он освободится, вам разрешат взглянуть на ребенка.

Она кивнула, но пошла не в палату, а снова к тому окну, из которого была видна реанимация, и стояла до тех пор, пока свет не зажегся.

Теперь у нее появилась цель: она сидела на кровати и ждала, думая о том, что вчера ждала точно так же долго в эти вечерние часы «скорую» и была убеждена, что про ребенка надо забыть, это только так называется – преждевременные роды, на самом деле просто выкидыш. Но родился мальчик, она стала матерью, а все прочее не имеет никакого значения.

Было уже совсем поздно, никто не приходил, и она подумала, что про нее, наверное, забыли или сказали просто так, чтобы она не маячила в коридоре. Но потом дверь приоткрылась, и давешняя медсестра шепотом спросила:

– Мамочка, не спите?

Перед тем как войти в реанимацию, ей велели надеть халат, бахилы, пеленку на голову и марлевую повязку. Она увидела в кувезе красно-синий вздрагивающий комочек, опутанный проводами и с воткнутой прямо в головку иглой, вцепилась в руку врача и не могла вымолвить ни слова – она даже не представляла, до какой степени он мал и слаб. Казалось, жизнь едва теплится в крохотном тельце, и трудно было поверить, что из этого существа может вырасти человек. Но потом она пригляделась и увидела сморщенное личико, ротик, глазки, носик, ручки и ножки с изумительно тоненькими длинными пальчиками и ноготками. Она понимала, что долго оставаться ей здесь не разрешат, и смотрела с жадностью, пытаясь запомнить все до мелочей, любуясь им и любя это сонное, теплое тельце. Тоненькая, слабая струйка брызнула между его ножек, и ее захлестнуло неведомой, счастливой нежностью.

– Ой, пишет! – ахнула она.

– Он у нас молодец мужичок, – сказал доктор. – Подождите, он себя еще покажет.

«Матерь Божья, Матерь Божья, Господи, Господи, – бессвязно прошептала она, – это все Ты. Ты только не уходи пока. Ты еще побудь с ним. Пока мне не разрешают. А потом я приведу его к Тебе. Я расскажу ему, что это Ты его спасла, Ты его заступница. Я посвящу его Тебе, Ты только сохрани его».

Она вышла, не в силах сдержать свою радость и благоговение, и не слушала, что еще говорил худощавый врач про приборы и капельницу, она верила, что дело не в этих врачах и приборах, они лишь выполняют, сами того не ведая, волю свыше.

В коридоре она попросила, чтобы ей разрешили позвонить мужу, и, захлебываясь, как самому близкому и родному человеку, стала рассказывать ему про младенчика, путаясь в словах и перебивая саму себя, перескакивая с одного на другое и благодаря его за то, что он стоял утром под ее окнами. Она не помнила себя от волнения и хотела, чтобы и он понял, что их страдания не были напрасными, но муж молчал.

– Неужели ты не рад? – спросила она с досадой.

– Рад. Тут твоя мама. Позвать ее?

– Не надо. Потом.

– Спасибо, что позвонила, – сказал он тихо и повесил трубку, и, как несколько месяцев назад, она остро пожалела о своей откровенности.

Но если бы в эту минуту она могла его видеть, то его лицо поразило бы ее. Оно выражало безмерное отчаяние и отвращение к самому себе.

– Сволочь, – пробормотал он, – какая же я сволочь! Господи, как Ты такое только допускаешь.

Он подошел к окну, прижался к холодному стеклу и услышал гудок и шум электрички, уносившейся в сторону роддома, посмотрел вниз, где два случайных фонаря освещали свежий снег, выпавший прошлой ночью, открыл окно и несколько минут стоял неподвижно и жадно дышал морозным воздухом.

Затем взял вчерашнюю бутылку с остатками коньяка и плеснул в рюмку.

На часах было без четверти двенадцать. Этот бесконечный изматывающий день кончился, и мужчина подумал, что сегодня – день рождения его сына. Что бы ни было, у него родился сын, и этого уже никто не отнимет. Этот день рождения мог стать единственным и последним, но пока что он был, и он выпил глоток коньяка, упал на колени перед распахнутым темным окном и жадно зашептал:

– Господи, накажи меня как угодно, возьми, сколько Тебе надо, лет моей жизни, возьми мое здоровье, силы, возьми ту избушку – возьми все, только пусть он живет.

Часть третья

1

На третьи сутки угроза жизни младенца миновала, однако эти дни дались ему нелегко. В его организме все время шла отчаянная борьба, его лихорадило и трясло, из полутора килограммов он потерял почти пятую часть, но сыпь исчезла, левое легкое раскрылось и дышать ему стало легче. Он больше не нуждался ни в капельнице, ни в подаче распыленного кислорода, уменьшились отеки, и два дня спустя его перевезли из реанимации в специальное отделение по выхаживанию недоношенных детей, располагавшееся в маленькой двухэтажной постройке в пяти минутах езды от роддома. В тот же день женщину выписали домой.

Она вышла, ступая немного неуверенно, неуклюжая в своей тяжелой шубе, с постаревшим лицом и морщинами под глазами, в черном пуховом платке, резко оттенявшем ее блед-

ность, и зарыдала – но не облегчающими сладкими слезами, а тяжелыми, глухими, полными отчаяния и ужаса. Случилось то, чего она и в кошмарном сне побоялась бы увидеть: она вышла из роддома без ребенка на руках, воровато пряча глаза, точно преступница.

С первых дней своей жизни, несчастный, не получивший ее тепла и любви, ни разу ее не видевший и даже не дотронувшийся до нее, он попадал в чужие руки, а ей предстояло вернуться в мир, где все будут жадно допытываться и обсуждать, что с ней случилось, как, почему, злословить и притворно выражать сочувствие. Она с ужасом подумала о свекрови, о собственной матери, о телефонных звонках и неловких словах людей, не знающих, то ли поздравлять, то ли сочувствовать, и ей захотелось скрыться от людских глаз еще сильнее, чем в первые месяцы беременности.

Утреннее возбуждение, когда ей сказали, что ребенка переводят из реанимации и это очень хороший признак, прошло. Она сидела в электричке, полуотвернувшись от мужа, скорбная, сжавшаяся внутри и отрешенная от всего. Дома, наспех поужинав и сцедив молоко, легла спать, но спала плохо, то и дело просыпаясь в бреду, и собственная квартира казалась ей чужой. А рано утром, едва зажглись первые огни в башне напротив, вышла на улицу и отправилась к станции.

На длинной широкой платформе она села в теплую электричку, и по мере того, как поезд над заснеженной поймой Москвы-реки и широким полем аэродрома, над застывшим каналом и шлюзом, мимо парка, промышленных завалов и задворок вез ее к нужной станции, в ней усиливалась тревога, и она не могла отделаться от предчувствия, что пока она была дома, с ребенком что-то случилось. Она выскочила из электрички на платформу, где уже чуть-чуть начинало брезжить и плотной толпой шли в чудом уцелевшее НИИ служащие, ускорила шаг и почти бежала, бежала как ненормальная со своими набухшими тугими грудями, стремительно разделась и бросилась в бокс, где лежал ее сын. Однако ей разрешили только взглянуть на него, и остаток дня она провела в комнате для матерей, среди таких же женщин, у которых тоже родились недоношенные дети.

Поначалу она держалась от них в стороне. Ей претили их беспечные долгие разговоры, легкомыслие и веселость, точно ничего страшного с ними не произошло, хотя у многих дела были гораздо хуже и хлебнули они больше, чем она. Роды не застали ее совсем врасплох, она рожала не дома, у нее не было кесарева сечения, не было родовой травмы ребенка, не было двойни, когда один из детей умирает, – она по-своему достаточно легко отделалась, и даже вес, с которым родился мальчик, считался по здешним меркам довольно приличным.

Но они все были моложе, беззаботнее или лучше умели скрывать свои чувства, и, просяживая с ними в этой комнате долгие часы от сжеживания до сжеживания за их болтовней о детском питании, одежде, колясках – о чем ей самой страшно было подумать и поверить, что ее это все тоже коснется и кроме страха и тревоги существует быт, – за всем этим она потихоньку успокаивалась и отогревалась, приходила в себя после шока, и ко многим из этих девиц, не забывавших накраситься и одеться помоднее, привязалась. На нее успокаивающе действовало, что она была не одна, все здесь друг другу сочувствовали и друг о друге заботились, и все они, и богатые и бедные, и образованные и необразованные, счастливые жены, за которыми приходили мужья, и матери-одиночки – все были равны.

Но это чувство покидало ее, едва она выходила из больнички и ехала домой – позднее трех часов оставаться не разрешали, и ночами просыпалась от ужаса, от жутких снов, грохота набегающих и уходящих электричек, от мыслей, что ребенок не очень хорошо прибавляет в весе, вяловат и плохо сосет из бутылочки, а о груди нечего и думать. Она представляла, как ночами он не спит и плачет, никто к нему не подходит, и к утренней электричке от тревоги не чувствовала себя живой.

В ее глазах было столько страдания, что молоденькая ординатор, лечившая ее ребенка и державшаяся со всеми высокомерно и неприступно, относилась к ней совсем иначе, отвечала на все ее расспросы, утешала и разрешала бывать при младенчике дольше обычного.

Первые десять дней он лежал в кувезе, кислород ему больше не подавали, но поддерживали тепло, которое сам он покуда хранить не умел. Кормили медсестры, женщина только сцеживала и отдавала им молоко и полностью чувствовала себя в их власти. Она смотрела на каждую из них с безмолвной мольбой и в их отрывистых фразах пыталась почерпнуть хоть слово о лежащем в кувезе мальчике, но сестры держались еще более пренебрежительно, и в их отношении к себе она чувствовала какое-то превосходство.

Вскоре она узнала, что медсестры делятся на хороших и плохих, на добросовестных и недобросовестных, у каждой из них свой нрав, одна берет все подряд, другая – только деньги, третья вообще не берет ничего. И она, сама же презирая себя за брезгливость и неумение, с каким это делала, клала в карманы шоколадки и пятитысячные купюры, пыталась льстить и заискивать, но это удавалось ей еще хуже.

Так в тревоге она встретила Новый год, запретив себе считать его праздником, потому что праздника, пока дитя было с нею разлучено, быть не могло. Она легла спать, как обычно, сцедив молоко, не сделав для этого дня никакого исключения и не накрыв праздничный стол, и заснула с одной лишь мыслью и мольбой, чтобы все самое страшное осталось в том кошмарном, Богом и Россией проклятом году, а ее муж так и просидел один перед пустым столом и раздражающим экраном телевизора. Но когда в седьмом часу она встала, чтобы ехать в больницу, он сказал, что поедет вместе с ней.

2

Уже почти три недели он был отцом, но до сих пор ни разу не видел своего сына. Тот ужас и ошеломление, которые он испытал в первые дни после его рождения, сменились оцепенением, он жил механически, смирившись с тем, что произошло, и даже порою об этом забывая. Погруженная в свои тревоги, жена снова отдалилась от него, они почти не виделись и мало разговаривали друг с другом: она, приходя домой, ложилась вскоре спать, а он теперь много работал. Никому из своих знакомых и на работе ни он, ни она не говорили о рождении ребенка, ничто как будто не изменилось в их жизни – только прибавилось недомолвок и взаимного отчуждения. В глубине души он считал ее виноватой и этой вины не прощал. Но новогодняя ночь живо напомнила ему другую ночь, когда, мучимый неизвестностью, он сидел и слушал в темноте стук часов, и теперь он испытал едва ли не физическую потребность увидеть если не самого ребенка – на это он и не надеялся, – то хотя бы то место, где он находился.

Больничка понравилась ему сразу же. Было в ней что-то трогательное, напоминавшее старые московские особнячки. Он вошел на низенькое крылечко, стяхнул снег и сразу за входной дверью на столике увидел большую потрепанную тетрадь, раскрытую посередине. Это был список всех детей с ежедневной отметкой о прибавке в весе. И среди этих фамилий мужчина увидел свою.

В первый момент он не понял, что под этой фамилией значился не он, а когда догадался, в глазах у него потемнело. Это было первое материальное свидетельство того, что он действительно был отцом и кто-то еще на земле носил теперь ту же фамилию, однако это вызвало у него не радость, не гордость и не восторг, а очень острое, болезненное чувство собственной незащитности.

– Что, папочка, на сына пришли взглянуть? – Он поднял голову и увидел красивую женщину в голубом халате.

Он не был уверен, что действительно этого хочет, но под пристальным и немного насмешливым взглядом врача надел поверх ботинок бахилы и по каким-то коридорам, поднимаясь и спускаясь по крутым лесенкам, прошел в бокс.

Это меньше всего походило на явь: люди в халатах, много молодых женщин, детские кровати и похожие на аквариумы куветы – он шел и думал, что сейчас, быть может, произойдет самое важное событие в его жизни – он увидит своего сына.

В маленькой светлой комнате, где сидела полная старушка, врач подвела его к кувету.

– Ну смотрите, вот он, ваш красавец!

Он представлял сына пусть не таким упитанным и крепким карапузом, каких рисуют на коробках с детским питанием, но то, что он увидел, вызвало у него оторопь. Перед ним лежал и вздрагивал ручками одетый в беленькую распашонку и запеленутый по пояс красненький сморщенный старичок. Распашонка самого маленького размера была ему непомерно велика, и такой же большой была шерстяная шапочка на голове. Он спал раскинув руки, чмокал губами и вздрагивал, но больше всего мужчину поразило то, что этот человек был абсолютно точной копией его самого, но не маленького, каким он видел себя на младенческих фотографиях, и не теперешнего, а такого, каким ему еще только предстояло стать.

Врач, желая показать мальчика получше, засунула руки в кувет, сняла с младенца шапочку и приподняла его. Маленькая, испещренная венами масляная головка даже не откинулась, а просто закачалась из стороны в сторону, нижняя губа выпятилась, на личике появилась недовольная гримаса, и мужчина испытал такое чувство неловкости и стыда, будто эти нахваливавшие ребеночка женщины мучили его самого, беспомощного и слабого.

Надо было что-то сказать, поблагодарить, но он не мог вымолвить ни слова: ведь это был его сын, и неужели это был его сын? И он пожалел, что послушался эту красивую женщину и увидел то, чего раньше времени видеть ему не следовало.

Выходя из бокса, он столкнулся с женой. Она, одетая в белый халат, несла в руках бутылочку с молочком. Он посторонился и пропустил ее, и его взгляд показался ей таким же растерянным, беззащитным и полным безмолвной мольбы, как несколько месяцев назад, когда только начались их злключения и ее первый раз положили в больницу.

А женщина, глядя на ребенка, подумала, что теперь он уже не такой жуткий, как в реанимации. К концу третьей недели он догнал свой вес при рождении, ежедневно прибавляя по двадцать – тридцать граммов, ему начали делать массаж, но все равно представить, что наступит день и ей отдадут его, она сможет быть с ним столько, сколько захочет, и никто не будет ее контролировать, женщина не могла.

Она уже привыкла и к этой больнице, и к врачам, и к сестрам, они не казались ей больше такими страшными и жестокими, она приходила сюда как домой, приносила угощение к чаю, охотно разговаривала с другими мамами и даже как будто помолодела на десять лет, потому что к ней обращалась на «ты» даже годившаяся ей в дочери, родившая ребенка в старшем классе девица. Сюда, в этот особнячок, казалось, не проникало ничего, чем жил большой и грязный город: по коридору на первом этаже бродили толстые и важные серые коты, в полдень приезжала машина и привозила для кормящих матерей обед не хуже домашнего, детей выхаживали и растили, пока они не набирали двух с лишним килограммов, – все это повторялось изо дня в день, и иногда наступал праздник, когда какая-нибудь из мам, одетая в этот день особенно нарядно, приносила для всех остающихся торт и на глазах у всей больницы торжественно забирала своего малыша, завернутого в самую красивую пеленку, два одеяла и укутанного так, что еле-еле было видно крохотное, с кулачок, личико.

3

Накануне Рождества младенца перевели из кувеза в его первую кроватку, и матери впервые разрешили взять его на руки. Она взяла очень осторожно, боясь оступиться и уронить, и крохотное тельце показалось ей почти невесомым. Она держала его, бережно прижимая к груди, и думала о том, что теперь уйти от него домой будет во сто крат мучительнее.

Весь вечер она проплакала – перенести столько и быть разлученной с сыном теперь, – Боже, Боже, за что и сколько же еще эта мука будет продолжаться?

Сама она, не вполне оправившаяся после родов, держалась из последних сил, но каждый день в семь утра выходила из дому, чтобы успеть нацедить к утреннему кормлению молока. Ему обязательно надо было давать грудное молоко, чтобы он рос и с каждым днем отползал все дальше и дальше от той страшной бездны. Она снова молилась теперь на свое тело – только бы не кончилось молоко, только бы хватило хоть на первые месяцы. Наперекор всем ее страданиям, страхам и тревогам. Ни одна смесь заменить его недоношенному ребенку не могла, и она сумела расцедить груди до такой степени, что молока было в избытке, хотя вся ее жизнь постепенно превратилась в полурастительное существование: она много пила, потом сцеживала, снова пила, и так каждые два-три часа. Но молоко было жирным, и в каждой глотке, в каждой капле, попадавшей к младенцу, была жизнь. Теперь, когда он лежал в кроватке, ему уже больше не вводили молоко через зонд, а давали сосать из бутылочки. Он сосал плохо, быстро утомлялся и засыпал, она расстраивалась, а та самая красивая врач, которая показывала ребенка ее мужу, в ответ на жалобы грубовато отвечала:

– Мамочка, ваш мальчик – конь. Плохо сосет – значит, время ему не пришло. Он лучше нас с вами знает, когда и что ему делать.

Этот тон ее успокаивал: если бы дело было плохо, с ней бы разговаривали иначе.

И еще был один счастливый день, когда ей первый раз разрешили приложить его к груди, без особой надежды на успех – из бутылочки-то лилось струей, а тут надо было работать. Но когда она приблизила его ротик к груди, он вдруг открыл глазки, точно птенчик, клюнул сосок, обхватил его и стал сосать. Он сосал с открытыми глазами, тихонечко дышал – она чувствовала, как убывает молоко, и только молила Бога, чтобы он не бросил грудь, не устал. Но он продолжал сосать сосредоточенно и очень важно, и когда после кормления его взвесили, оказалось, что он прибавил целых сорок граммов. Она была так счастлива в тот день, что это можно было бы назвать наградой за все ее лишения. Материнство приходило к ней не сразу, а постепенно, так что она успевала прочувствовать и обрадоваться каждой из тех вещей, которые обычно наваливаются на женщину скопом. Эти радости были редкими, но когда они были – мальчика посмотрел невропатолог и сказал, что у него нет никаких отклонений, похвалила суровая массажистка, дежурившая в ночь медсестра сказала, что вечером он хорошо кушал и за сутки прибавил целых тридцать граммов, – когда ей случалось услышать или узнать что-нибудь приятное, она не ходила, а летала по этим коридорам и забывала про свою усталость, свои хвори, про то, что сама держится из последних сил.

Тот доктор в роддоме был прав: дни становились длиннее, и дитя росло все лучше и лучше, к середине января он набрал два килограмма, и заведующая заговорила о выписке. «Матерь Божья, Матерь Божья, – шептала женщина благоговейно, – это все Ты. Ты не оставила его и здесь. Ты приходишь к нему, когда меня нет». И страх, казалось, навсегда пронизавший все ее существо, стал уходить, она больше не боялась, что, придя однажды утром в больницу, услышит, что случилось несчастье. Она постепенно поверила, что у нее родился сын, никто не отберет его и она будет с ним жить, кормить, пеленать, гулять, будет его купать – все это придет, и даже то, что все стоило ей стольких кошмарных часов и дней, уйдет в прошлое и станет просто воспоминанием.

Тогда же она решилась на то, на что очень долго не могла решиться: дать мальчику имя, и впервые между нею и мужем возникло разногласие и невидимое, но отчаянное соперничество.

Она инстинктивно очень боялась этого момента. До сих пор она не была уверена в том, что муж станет относиться к ребенку как к своему сыну. За этот месяц она привыкла, что все лежит на ней, к тому же она плохо представляла этого человека стирающим пеленки, моющим пол или ходящим на молочную кухню, в нем слишком сказывались его барское воспитание, эгоцентризм и презрительное отношение к любой домашней работе. Но отстранить совсем она его не могла, и в загс они отправились вдвоем, в тот самый загс, где последний раз были тринадцать лет назад, и до сих пор не могли разобраться, ошибочным или правильным был их визит туда. Молодая пожилая дама выписала свидетельство о рождении, и сочетание фамилии и двух имен, одного, данного женой, – оно не слишком ему нравилось, но возражать он не стал – и другого, его собственного, окончательно узаконило существование ребенка и повлекло за собой вещи, в обычных случаях совершенно непримечательные, но казавшиеся им чудесными: прописку, получение пособия. Снова надо было сидеть в очередях, записываться на прием, составлять заявления и ждать, но от этих бюрократических процедур они получали необыкновенное удовольствие, потому что никому из угрюмых чиновников, скучающих при виде их простого, не таящего подводных камней и, следовательно, не сулящего вознаграждения случая, дела не было до того, в какой срок и с каким весом родился младенец. Он был просто один из десятков тысяч рождающихся в России детей, рождающихся вопреки нищете, братоубийству, грязи, лжи и грозным пророчествам о близящейся кончине мира.

4

Из больницы его выписали в середине января. Последние несколько дней мужчина и женщина ездили по магазинам, убрали квартиру и покупали все подряд: коляску, кроватку, ванночку, бутылки, детскую одежду и постельное белье, женщина шила из марли подгузники. Однако чем ближе был назначенный день, тем беспокойнее ей становилось. Она боялась теперь, что не справится с ребенком, все казалось ей неготовым, неубранным, она не была уверена, что сможет сама переодеть, накормить и искупать его. Она привыкла к тому, что каждый день в больнице мальчика смотрели врачи, теперь же она оставалась один на один с этим слабеньким, тихо дышащим существом, жизнь которого была для нее почти такой же непостижимой и таинственной, как и в пору беременности. И если тогда она сходила с ума и все время прислушивалась, толкается он или нет, то теперь точно так же прислушивалась, дышит или не дышит.

В комнате было тепло, но ей казалось, что он мерзнет. Она положила в кроватку грелку и села рядом. Потом перепеленала его, и хотя прежде делать этого ей не приходилось, все получилось довольно ловко. В положенное время она приложила его к груди, он жадно зачмокал и тут же у груди уснул. Теперь он уже не был таким страшеньким: под кожей образовался небольшой слой жира, она расправилась, исчез пушок на щечках, и он стал походить на обыкновенного младенчика, только очень маленького.

Звонила ее мама, звонила свекровь, она что-то механически отвечала им, а сама не сводила глаз с кроватки. Рядом стоял большой стол, приспособленный ею для пеленания, и на этом столе все необходимое: подгузники, вата, крем, бутылочка с простерилизованным подсолнечным маслом. Это был теперь ее маленький мир, в котором ей предстояло жить вместе с ребенком, и она постаралась сделать его как можно более удобным, обжитым и безопасным, и никого, кроме мужа, в него не пускала. Ни матери, ни свекрови прийти и взглянуть на внука она не разрешила.

Вечером его понесли купать. Он открыл глаза и первый раз за весь день поглядел на склонившиеся головы родителей. Мужчина осторожно его держал, а женщина мыла. Она боя-

лась его переостудить, нервничала, но все выходило как нельзя лучше. Большим куском марли они вытерли его: она тельце, а он головку, поросшую светлым пушком и все еще податливую и мягкую на ощупь. Младенчик хныкал: он хотел кушать и никак не мог вытерпеть, пока мать его запеленает. Он чувствовал близкое тепло и запах ее груди, эта близость томила и возбуждала его. Но только он жадно набросился на грудь, как тотчас же ее отпустил и заплакал. Испуганная женщина прижала его к себе и стала уговаривать поесть, но он корчился и выгибался у нее на руках. У него схватывал от боли животик, он плакал, потому что хотел, но не мог есть, и только спустя некоторое время успокоился и взял грудь. А ночью снова проснулся от боли, она носила его на руках, он плакал и не успокаивался, и тогда мужчина положил его себе на живот, боль сразу же стихла, и он так и проспал на животе у отца до следующего кормления.

Женщина боялась, что муж может уснуть и неловко повернуться, но мужчина не спал. То, что он переживал в те первые часы, когда младенец был дома, оказалось самым сильным потрясением за всю его жизнь. Никогда и никого, ни мать, ни отца, ни жену, он не любил такой безумной инстинктивной и животной любовью.

Это даже нельзя было назвать любовью или счастьем, ни одно из обычных человеческих понятий к испытываемому им не подходило, было гораздо глубже и сильнее. Все то, чему он поклонялся и верил, что воспитывал в себе годами, катилось под откос, и женщина с удивлением и недоумением наблюдала, как ее уравновешенный, брезгливый муж с необыкновенно серьезным и воодушевленным видом кипит, тщательно отполаскивает и развешивает в ванной и на кухне пеленки и подгузники, каждый день делает в комнате влажную уборку. Он забросил и лес, и свои любимые газеты, без которых прежде не мог жить, а читал исключительно книги по уходу за детьми. К своему ужасу, она вдруг обнаружила, что он считает себя более сведущим во всем, что касалось младенца, он тиранил и преследовал ее: сколько и как она кормила, гуляла, сколько он спал и какой у него стул, он мучил ее какими-то наставлениями, давал советы – откуда уж он их брал, начитался в этих книгах или додумался сам, она не знала, но снова вдруг ощутила, что ребенок как бы ей и не принадлежит. Прежде за нее все решали врачи, теперь муж, а она оставалась тем, кем была, – кормящей матерью, единственная забота которой снабжать ребенка молоком.

Они давно не ссорились, потому что ссориться им было не из-за чего: у каждого была своя жизнь и жизни эти не пересекались. Теперь же ссоры вспыхивали в доме постоянно, и лежавшее в кроватке дитя не ведало, что было причиной этих ссор.

А мальчик рос. Пока что разница между ним и обыкновенным месячным ребенком была слишком велика, но он набирал свои граммы и прибавлял сантиметры роста гораздо быстрее, чем доношенные дети, стремясь догнать тех, кто родился одновременно с ним, и вместе с ними начать ползать, вставать, ходить и говорить. Однако за это отчаянное стремление его организму приходилось платить слишком высокую цену, он страдал от нехватки микроэлементов, недополученных в два последних месяца беременности, и в детском тельце опять стало накапливаться неблагополучие.

Уже на следующий день после их приезда из больницы пришла участковый врач, не слишком молодая и, должно быть, изрядно повидавшая на своем веку, и в ее глазах женщина прочла неподдельный ужас. Сама она уже давно привыкла к ребенку, и он не казался ей ни очень слабым, ни очень маленьким, она помнила, каким он был в кувете месяц назад и как сильно с тех пор переменялся. Но врач, осторожно развернув пеленки, боясь дотронуться до него, слегка пощупала печень, послушала легкие и ушла, неуверенно пробормотав, что ребенок должен находиться под наблюдением заведующей отделением.

Потом пришла и сама заведующая, высокая, властная, стремительно и увереннодвигающаяся по квартире, и так же уверенно и властно звучали ее слова. Тщательный уход, избегайте любых контактов, малейшая простуда, температура, отравление – то, что доношенные дети переносят сравнительно легко, у вас выльется в самые тяжелые формы.

Она говорила это, глядя женщине прямо в глаза, она точно готовила ее к самому худшему, разрушая уютный и тихий мир, который они построили в своем доме. На улице зима, по Москве гуляет страшный грипп, дифтерия, ни вы, ни ваш муж не застрахованы от вирусов, у ребенка шум в сердце и увеличенная печень, его организм не полностью адаптировался, и адаптация происходит с большим трудом. От вас зависит многое, но предусмотреть все нельзя, и ребенок, помяните мое слово, дастся вам большой кровью. Вы должны это хорошо понимать, я вас не запугиваю, я просто говорю вам все как есть.

В какой-то момент женщина перестала слушать: ей было достаточно и десятой части этих медицинских угроз. Она лишь повторяла про себя одно слово: уход, уход, уход. «Маленький, ты только не уходи, – взмолилась она, прижав его к себе, – ты только останься с нами».

Она валилась с ног от усталости, от разорванного сна, от постоянного напряжения и нагрузок, но засыпала и пробуждалась с одной молитвой: «Мать Божья, если Ты хотела отнять его от меня, это надо было бы сделать сразу. Тогда у меня еще были силы, но теперь я не смогу, если с ним что-то случится. Ты вытащила его из бездны тогда – не дай же ей взять его обратно. Отведи от нас беду, Заступница. Пусть мы грешные, пусть мы живем без закона и без любви, дитя не должно расплачиваться за родительские грехи. Я согласна страдать сколько потребуется еще, я знаю, просто так ничего не бывает и я была наказана за свою холодность, но только не дай совершиться беде, огради его от зла».

Иногда, засыпая прямо в кресле, покормив младенчика, она пробуждалась оттого, что вспоминала: не успела дочитать молитву, и снова молилась, и плакала, и убеждала, убежденная сама, что только этими молитвами дитя и спасается и проживает каждый новый день. Она загадала себе, что им надо дожить до весны, пережить зиму, как когда-то надо было пережить ночь, и тогда уже никакая бездна их не настигнет.

5

С утра молоденький лаборант из детской поликлиники взял у младенца кровь на анализ, и они ушли гулять, а вскоре после их возвращения раздался звонок в дверь. Быстро, так что мужчина даже не успел помочь им раздеться, вошли заведующая отделением и участковая. Спящего ребенка велели распеленать, пощупали печень, заглянули в ротик и склеры глаз.

Все это происходило без объяснений и сопровождалось отрывистыми вопросами и командами: где можно помыть руки, разденьте, переверните, и было похоже на бандитский налет или действия оперативников.

Потрясенный во время глубокого сна, младенец заплакал, женщина взяла его на руки, и заведующая, не глядя на нее, найдя глазами мужчину, еще более жестко, чем в предыдущий раз, сказала:

– Ребенка надо госпитализировать!

– В больницу? – вскрикнула женщина. – Ни за что!

– Вы хотите его потерять? Значит, слушайте меня, папа, внимательно. У вашего ребенка очень плохой анализ крови. Очень. Гемоглобин в два раза ниже нормы плюс вчетверо повышенный ретикулоцитоз. И желтушность на лице. Это одно из двух: либо инфекционный гепатит, либо идет гемолиз. И то и другое – прямая угроза его жизни.

– Но ведь он себя хорошо чувствует, – возразила женщина, отбиваясь от страшных слов, значение которых она точно не понимала.

Мужчина же не слышал ничего. У него зазвенело в ушах, и он ощутил еще большую слабость, чем в тот вечер, когда стоял под дверью приемного отделения и до него доносились такие же жестокие и резкие слова.

– Госпитализировать надо немедленно. С таким гемоглобином не живут, понимаете? У него страдают ткани, страдает мозг, организм недополучает кислород, и последствия этого

могут стать необратимыми. Поверьте мне, сейчас вам кажется, что он чувствует себя хорошо, но через час случится гемолитический криз, и он на ваших руках умрет.

– Еще одной больницы я не выдержу, – сказала женщина безучастно.

– Выдержите, – ответила врач жестко. – Вы что хотели, в тридцать недель родили и думаете, легко отделаетесь?

В ее голосе прозвучало осуждение, но женщина с мукой поглядела в злые глаза заведующей, и та смягчилась, точно притупив свою жестокость об это страдание.

– Вы не отчаивайтесь. Печень у него не очень увеличена, значит, пока что прямой угрозы нет.

Она пошла к телефону, стала звонить в Морозовскую больницу, долго ругалась и доказывала, что ребенка могут спасти только там.

Младенец больше не просыпался, пока они ждали «скорую», потом они завернули его в одеяло и пуховый платок и понесли в машину, ехали через пол-Москвы, надолго застревая в пробках, и только когда в приемном отделении молодой дежурный врач ловко, играючи развернул его, он потянулся, зевнул и захныкал.

– Ну, зеваает, значит, ничего, здоров, – усмехнулся врач.

Женщина не поняла, говорит ли он это серьезно или в шутку, но то, что он не глядел на нее сумасшедшими глазами, ее обнадежило.

Их отвели в бокс, она положила мальчика в которую по счету казенную кровать и в первый момент не обратила внимания ни на грязные стены и потолок, ни на разбитый кафель, ни на духоту, в которой им теперь предстояло жить. Главное, никто не собирался разлучать ее с ребенком. Она вышла в коридор и простилась с мужем, снова, как полтора месяца назад, успокоила его и велела привезти завтра необходимые вещи, потому что даже постельного белья в больнице не давали.

Мужчина вышел на улицу, где стало еще морознее, и в темноте побрел между корпусами к выходу. Больница оказалась неожиданно большой. На ровных аллеях горели фонари, проходили запоздалые посетители и везде, в больших и маленьких, в новых и старых корпусах, лежали больные дети. Он подумал об этих детях и почувствовал необыкновенную нежность и грусть. Ему хотелось в эту минуту утешить каждого из них, успокоить и взять на себя их страдание. За освещенными окнами мелькали детские головки, он подолгу стоял и смотрел, потому что торопиться домой не хотелось.

Стоило только представить пустую квартиру, пустую детскую кроватку, ванночку, бутылочки, соски, пеленки – то, что являло для него отныне высшую вещественную ценность мира, как его охватывала безудержная тоска. Он прежде любил оставаться один в квартире, но теперь это одиночество ужасало его, и если бы не собака, он ни за что бы не вернулся домой, а поехал к матери или сестре. Он бывал у них очень редко, потому что и в той, и в другой многое его раздражало, а им, верно, претил его эгоизм, но сейчас он подумал, что раздражительность и эгоизм, страстность, неуступчивость и нетерпимость друг к другу происходят лишь оттого, что люди не знают цены истинным вещам, таким, как здоровье и жизнь детей, заслоняются чем-то надуманным, пока несчастье не откроет им глаза. Он решил, что как только ребенок выздоровеет, то сразу же поедет к двум забытым им родным женщинам, и весь вечер они станут пить чай и говорить о хозяйственных заботах, о детях, о домашних делах, о чем-то простом и незамысловатом, из чего отныне будет состоять на долгие годы его жизнь.

Сыпал легкий снежок, покрывая все следы на земле. Он уже совсем потерял дорогу и не знал, где находится, но спросить было не у кого, и он просто шел и шел бездумно и наугад и вдруг наткнулся на приземистое здание и тускло блеснувшую вывеску: «Патологоанатомическое отделение».

К горлу подступила тошнота, он представил холодные голые тельца и бросился бежать прочь, боясь, что в череде его мыслей и навязчивых картин мелькнет образ сына. Через дыру в

заборе он вывалился на какую-то улицу около стадиона, пошел глухими дворами и переулками. Район был нежилой, со всех сторон его обступали громадные корпуса, он уже совсем потерял ориентир, пока наконец не оказался на трамвайной линии. И все его покаянное благодушье смыло этой жуткой картиной.

Он не спал до самого утра. Сидел на кухне под веревками, на которых сохли пеленки, боясь войти в комнату и взглянуть на пустой детский угол, курил, снова мучительно ждал и тут же, опустив голову на стол, уснул, а разбудил его телефонный звонок, и он не сразу узнал голос жены – низкий, отрывистый и хриплый:

– Плохо. Они сказали, что очень плохо. Немедленно приезжай.

Он был уверен почти наверняка, что не успеет. Бежал до метро, потом по переходу, волоча с собой сумку, набитую детской одеждой и вещами жены, сумку, казавшуюся ему теперь уже совсем не нужной. Когда врачи говорят «плохо», значит, в действительности дело обстоит еще хуже.

И там, в вагоне метро, зажатый людьми с чемоданами, колясками и тележками – они ехали торговать на барахолку в Лужники и заполнили весь вагон, – в грохоте поезда, ругани челноков и обыкновенных пассажиров, во всей этой сутолоке, в которой его, верно, тоже принимали с его баулом за торгаша, неожиданно подумал об одной вещи, прежде от него ускользавшей. Он подумал, что ему нужен не просто ребенок, не просто сын для продолжения рода или удовлетворения честолюбия, ему нужен именно *этот* ребенок, *этот* младенец, которого он за полтора месяца полюбил, и что бы с ним ни было, что бы ни ждало его в будущем, больной ли, здоровый, это его сын и никого он не будет любить так, как его.

На той станции, где делали пересадку мешочники, его вытолкали из вагона, и толпа понесла по платформе. Он стал продираться назад – его хватали, толкали и что-то кричали, он цеплял всех своей сумкой, но ему нужно было в вагон. Он очень боялся, что не успеет и все произойдет без него, как произошло в тот раз. На следующей остановке он пробился к выходу и по огромному подземному переходу, под шириною проспекта, сквозь сплошной ряд торговцев газетами, календарями, книгами и порнографическими плакатами, изображениями сладких кошечек, мимо очереди за обменом валюты, дорогих магазинов, дипломатических домов и дипломатических машин, расталкивая прохожих, он шел к больнице. И чем ближе он был, тем становилось ему страшнее, точно его вели на собственную казнь.

Жутко хотелось курить, но он боялся задержаться хотя бы на секунду, пока будет доставать сигарету и прикуривать, и почти бежал по скользкой обледеневшей дорожке к двухэтажному ветхому корпусу, в левом крыле которого на первом этаже располагалось грудничковое отделение. Он опасался, что потеряет время на идиотские объяснения и уговоры какой-нибудь дежурной медсестры, но никто не стал задерживать его, когда, скинув куртку на руку, он пошел по коридору. Больница была полна хохочущими студентами, проходившими практику, и он быстро затерялся среди них. С обеих сторон долгого коридора располагались стеклянные боксы, и на каждой двери висела табличка с фамилией ребенка, возрастом, диагнозом и температурным листом. Студенты деловито переписывали данные в толстые тетради, и в этой суматохе он не мог отыскать свой бокс. Напряжение его достигло уже такой степени, что он не чувствовал своего тела и точно не шел ногами, а что-то его несло. Наконец у нужной ему двери он остановился, потом неслышно приоткрыл ее и скользнул в душное помещение. Жена сидела на стуле спиной к входу, детская кроватка была пуста.

6

- Где он? – спросил мужчина, едва ворочая языком.
- Ему делают пункцию костного мозга.
- Зачем?

– Я не знаю.

Она сцеживала молоко и не поворачивалась к нему, голос ее показался ему враждебным.

– А что говорят врачи?

– Ничего не говорят.

– Но ведь вчера же... – возразил было мужчина.

– Не знаю, что вчера, – она повернулась и посмотрела сухими горячими глазами, – у него с утра взяли столько крови из вены – он весь синий, холодный, еле живой. А теперь еще костный мозг. Я не понимаю, как так можно.

Молоко струйками стекало по стенкам бутылочки, и он подумал о том, что, наверное, зря она сцеживает и вообще все, наверное, зря: и страдания, и молитвы. Все зря, потому что если не суждено ему быть отцом, то никуда от этого не денешься, сколько ни бейся. Он сел на кровать, обхватил руками голову и некоторое время сидел не двигаясь. Пункция костного мозга, кровь из вены... Самому ему, когда у него брали обыкновенный анализ крови из пальца, становилось дурно, из вены у него не брали никогда.

– А он зевает? – спросил он глупо и поднял голову.

– Да при чем тут это? – заплакала женщина. – Я ничего здесь не понимаю. Они прибежали сюда с утра как сумасшедшие человек пять, смотрят его, между собой что-то говорят, а мне ни слова. Только сказали, раньше надо было в больницу, теперь может быть уже поздно.

– Что с ним такое?

– А спроси у них! Плохо, говорят, и больше ничего.

– Тут очень душно, – сказал мужчина, расстегивая воротник. – Давай проветрим, пока его нет.

По коридору ходили какие-то люди: матери в ярких халатах, сестры, врачи, студенты.

– Да сколько ж можно-то?

В дверь постучали – они оба вздрогнули, но вошедшим оказался парнишка в очках.

– Меня интересует история вашей болезни.

– Нет у нас никакой болезни, – отрезала женщина.

Потом наконец принесли ребенка. Женщина покормила его, перепеленала и уложила в кроватку, и они снова стали ждать, что к ним вот-вот придут и начнут что-то делать, но никто не приходил. О них словно забыли. К двум часам коридор опустел, обессиленный, потерявший столько крови младенец не то спал, не то лежал в забытьи.

– Надо поесть, – сказала женщина, – ты хочешь?

Он хотел, но покачал головой: есть в этой ситуации казалось абсурдом.

– Я тоже не хочу, но мне надо, чтобы не пропало молоко.

– Как зовут нашего врача? – спросил мужчина, поднимаясь с кровати.

– Кажется, Светлана. Светлана Васильевна.

Он нашел ее в коридоре на посту. Она сидела за столом и писала историю болезни: маленькая, щедрая, сама похожая на студентку, из тех, у кого мужчина вел семинары, читал лекции и принимал экзамены.

– Ну что вам? – проговорила она недовольным голосом. – Я все объяснила вашей жене. Положение очень серьезное, но пока ничего определенного мы сказать не можем.

– Но ведь вы же ничего не делаете! – возразил он. – Вы говорите, что положение тяжелое, и никак не лечите его.

– Послушайте, вы кто по профессии? Врач?

– Нет.

– Тогда не надо мне указывать, что я должна делать.

Она опустила голову и снова стала писать.

– Светлана Васильевна!

– Вениаминовна, – поправила она.

– Скажите, он будет жить?

Она пожала плечами:

– Не знаю. Мы только что взяли анализы. Они в работе и будут готовы через несколько дней. Тогда что-то станет ясно и можно будет начать лечение. Скорее всего, у него какая-то разновидность гемолитической анемии. Некоторые из них вылечиваются, некоторые нет. Но если и вылечиваются, то не до конца. Курс лечения в больнице, ремиссия, несколько месяцев дома – и снова больница.

– И так всю жизнь? – спросил он дрогнувшим голосом.

– Иногда удается добиться улучшения.

Он закурил и вышел на крыльцо. За эти несколько часов погода переменилась. Подул юго-западный ветер, с крыш закапало, над корпусами, голыми деревьями и аллеями завис туман. Было сыро, неуютно, в нескольких шагах от него стояли ярко покрашенные студентки и курили дорогие сигареты. Прошла Светлана Вениаминовна, не глядя ни на него, ни на студенток, – простучали по сырому асфальту каблучки. Кричали вороны, вдалеке гудели автомобили.

Больной ребенок, у меня больной ребенок, повторял он, приучая себя к этой мысли. У него тяжелое, неизлечимое заболевание крови. Это хуже, чем почки, печень, сердце, легкие, – это кровь. Даже если он останется жить, то будет лишен сотни радостей, обыкновенных для здоровых людей. Прикованный к жуткому графику – несколько месяцев дома, несколько в больнице – он не будет нужен никому, кроме матери и отца.

Сигарета кончилась, он достал другую, прикурил. И все-таки лучше это, чем ничего. Любое бытие лучше небытия. И в такой жизни можно будет открыть для него радость – только бы они смогли хоть что-нибудь сделать.

Он с неприязнью посмотрел на студенток. Врачи, клятва Гиппократова, курящие, покрашенные девицы, заигрывание, хохот, а рядом умирающие дети. Господи, Господи, пусть он только живет.

7

Он приезжал в больницу каждый день к девяти утра и привозил две сумки с продуктами для жены: термос с супом, термос со вторым и термос с компотом из сухофруктов, потому что именно такой компот способствует лактации, и сидел в боксе до поздней ночи, пока его не прогоняли дежурные медсестры. Сидел возле кровати, давая жене немного отдохнуть, иногда носил ребенка на руках, иногда что-нибудь читал, кипятил чай, мыл пол в боксе, стирал и лишь изредка выходил на улицу курить, туда, где то капала с крыш капель и висели туманы, то задували ветра и валил снег, а то наступали морозы и зимнее солнце лениво и бездумно скользило над верхушками деревьев.

Он находился при жене и при ребенке как бессменный часовой, и женщина, глядя на него, с непонятно откуда взявшимся в ее нынешнем состоянии удивлением думала о том, что этот холодный, равнодушный человек, привыкший к заботе только о себе или к тому, что о нем заботятся другие, избалованный своей матерью, изнеженный, не то чтобы переменился или стал другим, но в нем точно открылось что-то глубоко спрятанное, затаившееся и никогда, быть может, не узнанное, если бы не эта больница.

Они ждали результатов анализов, сначала одних, потом других, затем еще повторных. Каждый день с утра приходила медсестра с лиловыми глазами, молча забирала ребенка и уносила в лабораторию. Они не слышали и не знали, что она там делает, но всякий раз его приносили измученного, холодного, такого же лилового, и от собственного бессилия, от того, что они ничем не могли помочь и ни во что вмешаться или отдать свою кровь, можно было сойти с ума. Женщина с трудом удерживалась от того, чтобы не вырвать его из рук этой сестры, завернуть в одеяло и унести прочь, в свой дом, не открывать дверь, не подходить к телефону.

Однажды кровь брали из пальчика прямо в боксе. Нужно было собрать в двенадцать маленьких пробирок: сначала он терпел и не плакал, но потом, когда кровь с усилием пришлось выдавливать, жалобно заплакал. Их уверяли всегда, что он чувствует боль совсем не так, как большие дети, он ее не осознает и не страдает от нее, но она была готова поклясться, что ребеночек плакал и просил, чтобы она защитила его. С каждой новой пробиркой он плакал все отчаяннее и громче, мужчина беспокойно задвигался, и сестра, не поднимая головы, резко сказала:

– Выйдите в коридор, если не можете смотреть! Что вы думаете, мне это доставляет удовольствие?

Однако и неделю спустя ясности не прибавилось. Гемоглобин не падал и не поднимался, желтушность не уменьшалась и не увеличивалась, патологии обнаружено не было, и никаких лекарств младенцу не давали. Они просто лежали в этой больнице, каждый день с утра его смотрели, щупали печень и селезенку, несколько раз уносили в большую учебную комнату, где его осматривал аккуратный, доброжелательный профессор, что-то объяснял студентам, а мужчина и женщина стояли рядом, и профессор спрашивал их про наследственные заболевания.

К ним здесь привыкли, и больше не приходил вечерами дежурный врач, который всегда осматривал тяжелобольных детей, но все равно каждый раз, когда мужчина в утренних мерзлых сумерках шел по аллейке к больничному корпусу, стараясь не думать о неприметном здании в дальнем углу, он ничего не мог поделать с охватывавшим его ужасом, что за ночь что-то случилось и он придет к пустой кровати.

– Ты меня ненавидишь? – спросила его женщина однажды.

– Почему?

– Потому что это я во всем виновата.

Он ничего не ответил и только вяло махнул рукой: кто был виноват во всем, что с ними произошло, да и была ли вообще чья-либо вина, его больше не интересовало. Он смотрел на маленькое желтое личико спящего мальчика и точно пытался его запомнить, изучить до мельчайших подробностей.

Светлана Вениаминовна уже не была такой холодной и неприступной с ними, она навещалась довольно часто просто так – они привыкли и ждали ее, ища утешения и поддержки, хотя ни того, ни другого дать она не могла.

– У вас очень странные анализы. Они все время дают пограничные результаты, а почему и с чем это связано, сказать никто не может. Надо смотреть дальше, наблюдать за динамикой, ждать – ничего другого не остается. Перелить мальчику кровь или эр-массу, что делают при низком гемоглобине, мы не можем, потому что в этом случае смажется вся картина и истинная причина заболевания вообще останется неясной.

Анализы делали неделями. Несколько раз мужчина возил пробирки с кровью в другие больницы и научно-исследовательские институты, холодея при мысли, что где-нибудь в сутолоке его толкнут, пробирка опрокинется или разобьется и у мальчика снова возьмут кровь. Сколько же они ее уже взяли... И иногда ему казалось, что они делают все это не для младенца, а для удовлетворения собственного любопытства, чтобы продемонстрировать студентам случай редкого заболевания или собрать материал для научного исследования.

Постепенно он и сам начал вникать в сложные вещи: процессы кроветворения, биохимический анализ крови, прямой и непрямой билирубин, размеры эритроцитов, число нейтрофилов и тромбоцитов. Обо всем этом рассказывала ему Светлана Вениаминовна старательно и связанно, как на экзамене. Слушая ее увлеченные, толковые объяснения, он рассеянно думал, что, должно быть, из нее выйдет хороший врач, но все же видеть интересное в том, что было для него горем, казалось патологией и заключало в себе что-то отталкивающее.

Они мучились от неизвестности, от постоянного ожидания добрых или злых вестей, и это было так тягостно, что иногда хотелось одного: скорей бы им объявили диагноз и закончилась эта пытка.

А потом однажды в сумерках, когда врачи уже ушли, они не ждали никаких известий и поэтому спокойно сидели и пили чай – она на единственном стуле, а он на краешке ванной, – дверь в бокс распахнулась и влетела медсестра:

– Только что позвонили из лаборатории. У вас очень плохая биохимия. Я вызвала врача.

«Вот и все», – подумал он и со страхом посмотрел на спящего мальчика: даже взять его на руки он теперь не решился бы.

Сестра вышла, и они остались в темноте.

– Может быть, заберем его отсюда? – сказала вдруг женщина.

– Как? – не понял мужчина.

– Я им не верю. Они только мучают его. А если что случится, то пусть лучше дома.

Он не успел ничего ответить: вошла Светлана. Она была нарядно одета, с высокой прической на голове, которая совсем не шла к ее некрасивому узкому лицу и придавала ее облику что-то очень провинциальное, но он посмотрел на нее с мольбой, как на фею.

Она не торопясь вымыла руки, распеленала младенца, посмотрела его и недоуменно пожала плечами.

– Что с ним? – выдохнул он.

– Не знаю. На взгляд, никаких изменений не произошло. Когда у вас брали анализ?

– Позавчера.

– Этого не может быть, – сказала она спокойно. – Такой анализ может быть только у ребенка, умершего сутки тому назад.

По спине пробежали мурашки.

– Произошла ошибка. Кровь взяли позавчера, а анализ делали сегодня, за двое суток она просто прокисла.

– О, Господи!

– Ничего, привыкайте, бывает и не такое.

Она посмотрела на них совсем не строго, не как врач и с грустью сказала:

– А я от вас ухожу.

– Куда?

– Еще не знаю. Наверное, в районную поликлинику. Вызовы на дом, прививки, простуды, рецепты. Кончилась моя ординатура.

– Ну что же, – он замялся, не зная, что лучше сказать, – нам будет вас очень не хватать здесь.

– Вас теперь будет вести заведующая отделением. Она очень опытный врач, но я хочу сказать вам одну вещь. Я перерыла за эти дни гору литературы, и мне кажется, что все это время мы слишком глубоко копали. Это такой принцип: сначала ставить все возможные диагнозы, а потом их исключать. – Она посмотрела на женщину: – Поймите меня. Мы ведь тоже переживаем. Знаете, как врачи радуются, когда диагнозы не подтверждаются. Так вот, по-моему, у вашего ребенка просто незрелость костного мозга на фоне недоношенности и затянувшаяся желтушка новорожденных. Со временем это пройдет само собой.

– Вы так говорите, чтобы на прощание успокоить?

– Не только. Конечно, полностью исключать вероятность инфицирования, пока нет всех анализов, я не могу, но думаю, все будет у вас хорошо.

Но поверить словам этой молоденькой женщины он себе не позволил. Эти метания от отчаяния к надежде настолько его вымотали, что он снова почувствовал, как им овладевает какое-то оупение. Он вернулся в бокс, где жена перепеленывала сына, текла в ванной вода, в сумерках на столе и на полу появились тараканы. Лучшая больница страны, грязь, воровство,

бестолковость, блат – все одно и то же, одно и то же, сколько бунтов, революций, реформ, перестроек и диктатур ни произойди. Хорошую, умную девочку засунут в районную поликлинику, вместо нее возьмут какую-нибудь бестолочь – в этой стране родился и прожил свою жизнь он, проживет, если только проживет, свою его сын – но кому нужна такая жизнь? Мы просто вымираем, подумал он, у нас рождаются недоношенные, больные уже в утробе матери дети, мы все подвержены анемии, гемолизу, рахиту, если не физическому, то душевному, – это есть наша судьба и наше предназначение среди других народов, где ни один уважающий себя человек не позволил бы, чтобы его ребенок находился в таких условиях или чтобы беременная женщина три часа ждала «скорую помощь». И ни одна власть такого бы не позволила.

А мы все терпим, со всем смиряемся, мы все запуганы или запугиваем других, в нас нет не только любви, но элементарного уважения друг к другу. Для этих врачей я ноль, ничтожество, они входят в бокс к моему ребенку и в упор меня не видят и не воспринимают как страдающего человека. Даже эта Светлана стала относиться к нам по-человечески только время спустя, когда мы сумели тронуть ее сердце, и то лишь потому, что оно еще не очерствело. Наша повседневная жизнь ужасна, особенно если случается что-то очень затрагивающее нас, но мы этого не замечаем, мы устремлены в прошлое ли, в будущее, мы толкуем о великой России или идеалах свободы и демократии, мы забалтываем все, что можно заболтать, мы упиваемся своим красноречием, особой избранностью и духовностью, а за наше словоблудие расплачиваются дети этими нищими больницами, смрадом, тупостью и грубостью. Дети и их матери, которым просто больше не от кого рожать, кроме как от убогих российских мужчин, тем более интеллигентов. А новых русских или сентиментальных иностранцев на всех не хватит. Я должен отсюда уехать и увезти их, жену и сына. Куда угодно, в какую угодно страну, где я буду последним эмигрантом, где меня станут еще больше презирать и в грош не ставить, хотя можно ли больше, чем здесь и сейчас, но остаться после всего этого я не смогу. Я всегда с гордостью говорил, когда при мне ругали Россию, что это моя страна и, какая бы она ни была, она мне родина. А то, что мы живем в нищете и рабстве, – это наш удел и наша расплата за грехи соблазненного равенством и справедливостью поколения. И я был готов по этим долгам платить, но это только до тех пор, пока у меня не стало ребенка. Ребенок чист и по моим грехам платить не обязан, и если я там не нужен, то пусть хоть он вырастет человеком.

Он уже не заметил, как начал говорить с самим собой, и задремавшая было жена проснулась и беспокойно спросила его:

– С кем это ты? Кто здесь?

– Спи, никого, – ответил он шепотом и присел на кровать.

Она снова задремала, и он с нежностью и виной посмотрел на ее усталое, измученное лицо. Она уже много дней не выходила из бокса, постаревшая, осунувшаяся, – кто она ему, родная, чужая? Но он вдруг почувствовал что-то вроде благодарности за то, что она выхаживает или сопровождает до конца его ребенка.

8

Итак, гепатит. Вероятно, в роддоме занесли вирус. Все оказалось гораздо проще и страшнее, чем она предполагала. Гепатит, который у недоношенных младенцев дает такую тяжелую клинику, что перерастает в цирроз печени, и дети умирают, в сущности, от той же болезни, что и закоренелые алкоголики.

Заведующая отделением держала в руках карту с только что с опозданием полученным анализом и думала о родителях. Нет, эти скорее всего судиться не станут и нервы никому мотать не будут. За два десятка лет работы она уже научилась объявлять подобные вещи не прямо, но достаточно жестко, так что умные люди ее понимали. Если ничего сделать нельзя,

значит, нельзя. К слезам и мольбам ей было не привыкать, но все же истерик она не любила и больше уважала тех, кто принимал ее приговоры молча и достойно.

– Пришел положительный ответ на австралийский антиген, – сказала она женщине на утреннем обходе.

Женщина не сразу поняла, что это значит, ее сбило с толку слово «положительный», и она только спросила:

– А мы долго здесь еще пробудем?

– Послушайте, – разозлилась заведующая, – вы же не будильник принесли в ремонт. У ребенка тяжелейшее заболевание – инфекционный гепатит.

– Это очень серьезно? – Женщина выпрямилась, и лицо ее побледнело.

– Это очень неприятно, – ответила заведующая, покусывая нижнюю губу. – Очень.

– Я хочу его окрестить.

– В церковь нести? Да вы что? Его из бокса выносить никуда нельзя!

– Я позову священника сюда.

Заведующая хотела резко возразить, но поглядела на спящего мальчика и едва заметно пожала плечами:

– Если вы так настаиваете, я могу сделать для вас исключение.

Это было ранним утром, мужчина еще не пришел, и до его прихода она носила спящего мальчика на руках, а потом велела мужу немедленно идти в храм и искать любого священника, который бы согласился прийти в больницу.

– Ты веришь в то, что это его спасет? – спросил он горько.

– Я хочу, чтобы он был крещеным.

Снова он шел по долгому коридору мимо врачей, сестер, практикантов, ординаторов и мамаш в халатах и спортивных костюмах, кто-то сделал ему замечание, что он не снял верхнюю одежду и не переобулся – в тот день ждали комиссию из министерства, – в боксах был шмон, и женщинам велели убирать продукты с подоконников, выгоняли родственников и всех посторонних, и заведующая пожалела, что разрешила позвать попа, хотя потом рассудила, что по нынешним временам поп – это даже хорошо и его могут засчитать в ее пользу.

Мужчина же шел и думал о том, что его жене, наверное, не безразлично, умрет ребенок крещеным или нет, быть может, она верит, что если его не окрестить, то он не попадет на небо и не увидит Бога. Но он думал совсем о другом. Какой смысл был в жизни двухмесячного младенца, не видевшего ничего, кроме больницы, уколов, боли, перенесшего столько страданий, и все это должно окончиться смертью от гепатита, в сущности, обыкновенной желтухи, которой болеет каждый второй и вылечивается, но по чьей-то идиотской халатности ему занесли смертельный вирус, и ни одно лекарство не сможет этот вирус остановить.

Смерть торжествовала, как ни пытались они ускользнуть от нее, как долго им это ни удавалось, это была только игра жестокого мальчишки с уползающим жучком. Два месяца страдания, боли – и смерть. Жена велела ему торопиться, но торопиться не хотелось. Он точно стремился оттянуть тот момент, когда призовет к кровати умирающего ребенка чужого и равнодушного человека, для которого этот младенец будет одним из сотен крещенных им детей, а то, что он умрет, – кому какое дело. Так же равнодушно этот или другой священник совершит отпевание. Мы попадем в ту половину статистики, которая отвечает за детскую смертность, и увеличим ее еще на одну единицу. И больше ничего – день рождения, день смерти и могилка, чтобы ездить туда два раза в году. И вся наша оставшаяся жизнь, независимо от того, доживем ли мы ее вместе или порознь, превратится в воспоминание об этих двух месяцах, и нам останутся его имя, распашонки, бутылочки, кровать...

Потом он подумал, что, когда мальчик умрет, – подумал спокойно, как об уже свершившемся факте, – врачи произведут вскрытие, чтобы подтвердить правильность диагноза и чтобы все эти студенты и практиканты, все будущие доктора знали цену ошибки и никогда бы не

заносили австралийский вирус в детскую кровь. И кого-то, быть может, тронет история *этой* детской болезни и наше страдание, и из такого человека выйдет хороший врач или добросовестная медсестра, но если вся жизнь моего сына и все его муки нужны были только для того, чтобы отучить от халатности врачей в стране, где по халатности взрываются атомные станции, тонут пассажирские пароходы и морские паромы, сталкиваются поезда, разбиваются самолеты и горят газопроводы, – если эту задачу государственной важности надо решать такой ценой, то я ничего не понял. Пусть даже завтра за все страдания мой сын увидит Самого Бога и сядет у Его Престола, который я никогда не увижу по своим грехам и маловерию, то я все равно ничего не понимаю. Возможно, мою маленькую, любящую, праведную жену это утешит, и она будет до конца своих дней молиться и, как Иов, благодарить Небо за дар страдания и когда-нибудь тоже попадет туда и там они встретятся и обнимутся на глазах у всего ангельского сонма. Ни будущей жизни, ни Царствия Небесного я не заслужил и не заслужу, равно как и не заслужу вечных мук. На мою долю выпадет только небытие, ибо в конечном итоге я убежден совсем в ином. Убийца моего сына – природа. Та самая природа, которую я боготворил и к которой убегал из этого мерзкого города. Это она не захотела рождения ребенка, но лукавые люди не дали ему, обреченному по ее законам на смерть, умереть. Они хотели ее обмануть и перехитрить, но не знали, с кем имеют дело: она вершит свой отбор, невзирая на все наши представления о высшей целесообразности, чуде и милосердии, и если моему ребенку нет места на этой земле, то тем или иным способом она свершит свое дело. На это так же глупо жаловаться и искать виноватого, как обвинять в убийстве землетрясение, извержение вулкана или лавину. Любая болезнь, любой вирус есть не что иное, как способ, посредством которого регулируется численность людской популяции, а занимается ли этим старик с бородой, или дьявол с хвостом, или медоточивый Будда – в этом ли дело?

9

Церковь была закрыта. Мужчина постучался в дверь, за которой слышалось нестройное пение – верно, шла спевка церковного хора, но ему не открыли, и тогда он вошел через калитку за церковную ограду и направился к домику причта. Никто не остановил его, он вошел в прихожую и открыл дверь в просторную комнату. В этой комнате за большим столом под иконами, в окружении нескольких старух в белых платочках сидел аккуратненький, ясный старичок в серой рясе и с пушистой бородой и пил чай. Старухи рассказывали ему что-то жалобное, а он прихлебывал из блюдечка и как будто не слушал их. Он ласково посмотрел на мужчину и улыбнулся ему.

Старухи тотчас же обернулись и замахали руками, двое вскочили с места и попытались вытолкнуть его за дверь, раздались возгласы и возмущенные восклицания, но мужчина уперся руками в косяк и не двигался.

– Ну-ка тихо, расшумелись, – сказал старичок, – вы ко мне?

И тотчас же старухи опять загалдели, стали кричать, что батюшка давно на покое, требы не совершает, а о том, чтобы в больницу ехать, и речи быть не может, но чем больше они кричали, тем больше мужчина убеждался, что жене нужен именно такой человек.

По дороге он рассказал священнику всю историю сына, но старик слушал так же невнимательно, как и жалующихся старух. Придя в бокс, он велел остаться только матери. Через полчаса священник вышел. Женщина шла рядом с ним, поддерживая его под руку, и мужчина услышал обрывок их разговора:

– Я только хочу, чтобы он не мучился. За что ему это?

– Ты вот что, – сказал старик строго, – ты не дури и вопросов лишних не задавай. Все равно никто тебе не ответит. А врачей не шибко слушай – не их ума это дело, кто и когда пред Богом предстанет. Ну, Господь с тобой.

– По-моему, он такой старый, что так ничего и не понял, – заметил мужчина с грустью.

И началась еще одна, уже третья по счету неделя в больнице. Снова приходили профессора, врачи и студенты-практиканты, и все спрашивали одно и то же: какого цвета моча и кал младенца, рассматривали его язык, нёбо и склеры глаз, но никаких явных признаков гепатита не было.

Потом их снова оставили в покое, потеряли к ним интерес и точно забыли. Никто не говорил, сколько осталось младенцу жить, инкубационный период мог и затянуться – надо было снова ждать. И снова каждый раз, когда мужчина шел в больницу и нес сумки с термосами, он не знал, что скажет жена и не случилось ли за ночь чего-то страшного.

Никогда он не думал, что человек способен страдать до такой степени и так долго – это страдание вбирало в себя все: и его горечь, и ненависть, и любовь. Он с ним засыпал и просыпался, оно присутствовало в каждом мгновении его жизни, что бы он ни делал, не притупляясь и не ослабевая. Но потом, в минуту какого-то просветления – это было ранним утром, перед тем как войти в отделение, самое ужасное, что было в его нынешней жизни, ибо именно утром он не знал, живого или мертвого увидит своего сына, – в эту минуту он остановился перед дверью и не ускорил шаг, как обычно, а достал сигарету, неторопливо выкурил ее, потом поднял голову к низкому, хмурому небу, опиравшемуся на верхушки голых и сырых деревьев, и вдруг почувствовал, что он не одинок. «Страдание есть знак нашей неоставленности Богом», – подумал он.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.